

Александр КОЗИН

*г. Электросталь**Московской области*

ТОВАРИЩ ВЕНТИЛЯТОР, ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ АНДРЕЯ СТОЛБОВА

повесть

До кухни по тёмной ночной квартире нужно было сделать около десятка осторожных шагов. Осторожных и вороватых: не шуметь, не врезаться в потёмках в дверь или шкаф, не споткнуться о притаившуюся в тесном коридоре полуторапудовую гирию и не выругаться при этом. Эту конспирацию Андрей Евгеньевич Столбов уже чётко отработал за последние годы. Но вот опасный маршрут оказался позади, плотно закрывалась кухонная дверь, и на столе вспыхивала неяркая, в тёмно-жёлтом матерчатом абажуре лампа. Тайный ночной приют. Новая встреча. С самой собой. Ну и с ней, конечно. Как же без неё?..

Лёгкое привычное волнение. Бесшумные, как у индейца, крадущиеся шаги. Медленное — лишь бы не заскрипела — оттягивание дверцы посудного шкафчика. Чуть трепещущая рука, ныряющая в тёмные недра тайного хранилища. Лёгкий стеклянный звяк, тихое «ой!» — и долгое прислушивание. Пронесло... И вот она. Вожденная. Перцовая. Насыщенно-жёлтая, чуть в красноту. А на доньшке — маленький красный стручок. Его любимая. С неё в студенчестве началась его алкогольная жизнь. К ней, верной и незлопамятной, вернулся он теперь, в зрелости. Она всё та же. Такая же терпкая и забористая. И даже стручок на дне ничуть не завял. А вот Столбов сдал. Полысел, поседел, обрюзг и опузател. Стал тусклым и скучным.

Настольная лампа окрашивала кухню в цвет благородного коньяка. Коньячные стены. Коньячный потолок. Коньячное лицо над столом. Коньячный, в колючей щетине, двухэтажный подбородок. Коньячный, слегка обвисший нос. Коньячные, чуть набухшие, подглазья.

Даже лысина сияла волшебным светом жидкого солнца. Того и гляди, ударит в нос сногшибательный аромат выдержанного «Хенnessи». Но пахло обыкновеннейшей перцовкой. И глаза под высоченным из-за лысины лбом были перцовыми — колючими, с крупными чёрными горошинами зрачков на сером яблоке. Колючими и язвительными.

На кой чёрт нужна была вся эта конспирация — он и сам толком не понимал. Жена прекрасно знала об этих его ноч-

ных «свиданиях». Ни разу не слышал он по этому поводу ни упреков, ни порицаний. Ей, кажется, было всё равно. А вот ему почему-то нет. И бутылка на столе стояла прямо под рукой, чтобы в случае внезапной тревоги молниеносно исчезнуть под столом.

Давно уже позади были для него расхожие предрассудки о том, что, дескать, пить в одиночку — удел алкоголиков и неудачников. Лишь наедине с собой он ощущал себя в своей тарелке. Вернее, в рюмке. Друзья? А что в них толку? В детстве да в юности могли сидеть и говорить часами. Даже ночами. А теперь... Только и хватает, что на полчаса, и то о погоде. Да ещё и жеманиться начнут, как барышни. И водка им горькая, и закуска не та, и вообще пить не хочется, завтра на работу... И знай уговаривай. Скука. Чужие люди.

Да и где он вообще — тот мир, где все были своими, настоящими, искренними? Мир, в котором Столбов чувствовал себя по-настоящему дома. Где всё было просто, ясно и незыблемо? Нет его. Рухнул. Исчез, улетучился вместе с разгромленной страной почти в одночасье. А в мире нынешнем всё сильнее чувствуешь, что ты вовсе не дома, а в гостях, из которых того и гляди турнут. Да и сам этот мир бестолково кружится и опасно пикирует, грозя рухнуть и разбиться вдребезг. Само это ощущение было настолько давящим, что Столбов поначалу даже удивлялся, почему некогда близкие ему люди усиленно делают вид, будто ничего подобного не чувствуют, и всячески избегают даже разговора об этом. Потом перестал удивляться. Понял: они сами напуганы. Страшно напуганы. И более всего боятся этот страх выдать. Что ж, будь по-вашему. У вас всё «о'кей» — ну и идите к чёрту. Проживём и без вас. Так и жил уже второй десяток лет. Без них.

Да и в самом деле, как хорошо: ни болтовни, ни идиотских тостов, ни тупого жрания и чавканья, никаких разряженных надутых попугаев-собутельников и их недалёких жён... Открыл, сглатывая горькую слюну, бутылочку, нагрюкал стопку, неторопливо выпил, закусил хлебной корочкой и сидишь, выдыхаешь блаженно, смакуя целебное тепло, растекающееся от живота к голове... Благодать. Сам себе лучший в мире собутельник и собеседник. И Столбов беседовал. Сначала — мысленно, откинув-

шись на спинку стула и созерцая коньячный потолок в слоях табачного дыма. Потом начинал беззвучно шевелить губами. А затем, блаженно улыбаясь, уже и бормотал что-то невнятное и бессвязное. Иногда вздрагивал плечами и заходился в беззвучном смехе. Чаще всего он вспоминал детство. Далёкие семидесятые годы, солнечные и беззаботные. Родных. Друзей семьи. Соседей... Он с удивлением обнаруживал в памяти целые пласты, о которых ещё недавно и не подозревал. Он будто тянул за невидимую нитку, а они всплывали, раскрывались вдруг и словно затягивали его в этот чудом сохранённый мир, являя такие детали, о которых он, казалось, давно и безнадежно забыл. Цвет и рисунок бабушкиного платья... Отцовскую расчёску с выломанными зубьями... Его пахнувший московской колбасой портфель... Мамину сумочку со звенящим на ходу колечком... Заводскую этикетку со смешным медвежонком под рулём своего мальшоваго трёхколёсного велосипеда...

А то вскакивал вдруг, подходил к окну и, глядя в тёмную пустоту, становился чуть старше. Видел друзей, выкликающих его гулять во двор. Отчётливо слышал их голоса. Носился с ними по окрестным улицам. Строил штабы на чердаках. Жёг костры. Играл в пробки. Одна из них — редкая, от чешского пива — так и сияла перед глазами. Затеяливый бородач с кружкой и надпись «Gambrinus».

В эту ночь всё начиналось точно так же. Мягко и благостно прошли две рюмки. А после третьей рассеянная улыбка вдруг сползла с его лица. В голове покачнулось что-то, как на крутом вираже американских горок, и маршрут его машины времени значительно сократился.

Протрезвевший и озадаченный Столбов стоял у окна и задумчиво курил. До того задумчиво, что пепел с сигареты то и дело падал на пол. До пепельницы надо было тянуться, а этого совсем не хотелось. Это воспоминание было очень дорого ему. Но раньше он успешно отмахивался от него, чтоб не бередить больную совесть. Сегодня не получилось. Оно прорвалось и вспыхнуло неожиданно ярко и подробно. Совсем как детство. Но ещё отчётливее. Потому что не успело забыться.

Маэта, одна маэта...

А во рту привкус вермута...

Удивительный привкус. Терпкий, крепкий, травно-виноградный. Чуть ослабнет он во рту — облизнёшь губы — и снова... Именно сквозь этот привкус и помнится ему тот городок, те встречи, те лица, ставшие родными за какой-то месяц. И старый деревянный дом на окраине. И жёлтые, чайного цвета, ночные фонари. И дождь, яростно хлещущий по цветам в палисаднике. И напряжённый звон тишины в тёмной комнате. И частое взволнованное дыхание. И нестерпимо горячий шёпот у самого уха... Маета. Одна маета. Но другой такой в его жизни больше не было.

* * *

Началось всё это обыкновенно и вполне себе прозаично. После института работал он на одном крупном московском заводе. Работа — дом — работа... Скучновато было, если честно. Да и немудрено: молодой специалист, серьёзной работы не доверяют, едва ли по рукам не бьют: этого не трожь, того не крути. И вдруг — начальство: поезжай-ка, дорогой товарищ Столбов, в командировку. В один чудодорожок под Ленинградом. На швейную фабрику. Нет, не рукавицы шить. Наш завод, видишь ли, монтирует там вентиляционное оборудование. И надо ж тебе, случился там какой-то затык. Нужен грамотный инженер. Да брось, не скромничай. Ты разберёшься. Ты сделаешь. Давно мечтал о настоящей работе? Так вот тебе. Действуй. А то там, говорят, директор уже шляпу свою без соли съел и сюда грозитя приехать — нас сожрать. Выручай, Андрей Евгеньевич. Кто как не ты?..

Что было делать... Собрал Столбов дорожный чемоданчик, хотел узелок на палочке, чтоб пожалостливее выглядеть, да передумал; и вечером отчалил из Москвы ночным поездом. А поздним утром следующего дня уже шаггал одноэтажными полудеревенскими улицами этого благословенного городка. Вернее, не шаггал, а брёл, рассеянно наступая в лужи и спотыкаясь на разбитом асфальте. Предвкушал неприятные разговоры с директором-шляпоедом, ругань с заводскими монтажниками — и от души костерил судьбу-злодейку.

Но всё оказалось совсем иначе. Люди тут были другие, не московские. И встретили его если не как родного, то уж точно как доброго знакомого. Так примерно, как в глухой деревне встречают городского гостя — с приветливым любопытством.

Директор прямо с порога заявил, что Столбов рекомендован ему заводским начальством как лучший специалист и отличный техник. Тут уж нельзя было оплошать. И он расстарался. Целый день напролёт допоздна лазил по монтажным лесам, вымерял, простукивал, выискивал изъян. Едва не застрял в какой-то трубе, спасибо, выдернули. Зарывшись в чертежах, носом водил по каждой линии, сопоставляя увиденное с проектом. И докопался-таки. «Завтра всё заработает», — заверил он монтажников. Бригадир долго скрёб в затылке: «Держи карман... Да тут работы на неделю...» — «Завтра!» — оборвал он в духе бравого индустриализатора тридцатых годов. Сунул бригадирю заранее запасённый флакон с литром спирта и победно зашагал из цеха. Бригадир блаженно улыбнулся ему вслед. По фабрике его сопровождал мастер-наладчик. Немолодой грузноватый дядька, похожий на доброго медведя. Со здоровенными крепкими ручищами, крупной седой башкой и в очках. Василий Васильевич. Поначалу он только усмехался — видно было, что не шибко доверяет приезжему специалисту, а теперь глядел на него с прежней хитринкой, но уважительно.

— А ты голова... Голова. Не ожидал, — всё приговаривал он. — Другие-то приезжают — руки испачкать боятся, как же: я, мол, инженер, а на это рабочие есть... А ты... молодцом!

— Да ладно, Василь Василич, завтра поглядим ещё... — отмахивался он, не скрывая победной радости. — Да... Гостиница у вас тут есть? Переночевать-то?

— Да есть... — вяло пожал плечами мастер. — Слушай, а чего тебе гостиница? Идём к нам! Я тут рядом живу, пять минут ходу. У нас как раз соседи съехали, квартиру получили. Места полно. Тарелка супа для доброго человека всегда найдётся. Ну, и ещё кой-чего, не без этого... Как, ваше ветродуйство?

Его ветродуйство не заставил себя уговаривать. И правда, было близко. Перешли по мостику узенькую речушку, прошагали каким-то

прогоном меж шербатыми, косыми заборами — и вот он, дом. Длинный, бревенчатый. В сущности, барак, но одноэтажный. Крашенные наличники и тесовая обивка придавали ему вид уютный и тёплый. Два подъезда. У каждого — по три жестяных почтовых ящика. И яркий фонарь на длинной штанге.

— Вот и прибыли... — добродушно ворчал Василий Васильевич. — Нина Фёдоровна моя, небось, спит уже. А мы с тобой тихо. Как мышки. На кухне... Вон окошко-то... Ну, чего глядишь? Непривычно? А я всю жизнь живу — ничего. Ты не думай, удобства все есть, — вдруг услужливо зачистил он. — И сортир, и умыться, и душ natoпим — это не сомневайся... А завтра сад тебе покажу. Я тут огородничаю, хозяйствую... Да пошли уж!

Столбов только потому мешкал, что нравилось ему слушать эту добрую болтовню. Было в ней что-то домашнее, своё, родное. Будто к отцу на побывку приехал. Со своим отцом он давно не ладил: ещё с юности характером разошёлся. А тут будто добирал, восполнял недополученное когда-то.

Короткая, тускло освещённая скрипучая лестница в четыре ступеньки. Пахло старым деревом, печной гарью и чуть-чуть котами. Площадка. Три двери: одна и две напротив.

— Ну, вот и мои апартаменты, — хрипло прихихикнул Василий Васильевич и открыл одну из дверей. Миновали тесный тамбур и очутились в узкой, сдавленной стеной и хлипкой фанерной перегородкой прихожей. Здесь горел на стене тусклый светильник вроде ночника. За перегородкой раздался лёгкий шорох, и в дверях комнаты показалась невысокая щуплая женщина в домашнем халате и кухонном фартуке. Первое, что увидел Столбов, — её сильные жилистые руки. Крестьянские. А потом, когда вся она оказалась в прихожей, свет ночника упал на её полное, чуть тронутое морщинами лицо, мягкие, чуть смешливые карие глаза за стёклами круглых очков, вьющиеся светло-русые волосы с прожилками седины. Андрей невольно улыбнулся: такая женщина может быть только хорошей. Добрый круглый подбородок. Мягкий, чуть вздёрнутый вопреки годам нос. Мать. Жена. Хозяйка. Нет, сегодня ему определённо везёт.

— А! Вот и Ниночка... — внезапно по-молодому просиял хозяин. — Ты что ж не спишь-то... Поздно уж...

— Да уж припозднились... — покачала головой жена. — Проходите. Я как раз колонку испостила, сполоснётеся...

— Да мы бы сами... Ой, вот ведь старый... Совсем забыл. Знакомьтесь. Это вот Нина Фёдоровна, супруга, значит, моя. Первая и последняя. Тридцать лет вместе. А это Андрей Столбов. Специалист из Москвы. Инженер. Отличный человек. Прошу, как говорится... — и Василий Васильевич картинно поклонился в обе стороны.

— Здравствуйте. Очень приятно... — пробормотал Столбов, легонько пожимая её тёплую крепкую ладонь. — Извините... Заставили вот хлопотать...

— Ничего. Это приятные хлопоты. Как же мне мужа-то не встретить... А вас? Это ж надо — из Москвы! Да это ведь событие! Кого мы тут видим-то, всё одни и те же. Новый человек как праздник. Ну, хватит на пороге болтать! А то колонка лопнет, вас дожидаясь. Живо! — прикрикнула Нина Фёдоровна и исчезла в комнате.

— Во как! — хохотнул Василий Васильевич. — Не забалуешь!

— Вот тут мы и обитаем, — показывал хозяин гостю своё жилище. — Тесновато, да много ли нужно старикам... Там спальня. А это, значит, зал. Тут я творю. Развлекаюсь, так сказать... А? Гляди, крути, не бойся. Всё в рабочем состоянии...

Столбов с отпавшей челюстью застыл посреди комнаты, как раз под люстрой. Повсюду вокруг в удивительном порядке стояли швейные машинки. Целый музей. И ручные, и pedalные, и электрические. Даже столик под телевизором у дивана был сработан из чугуна станины с литой надписью «Singer». Несмотря на это царство техники, в комнате было очень уютно. Люстра давала приглушённый матовый свет. Стол был застелен вышитой, с кистями скатертью, похожей на старинную шаль. А на стульях — тоже по-старинному — надеты белые матерчатые чехлы. В самом деле, здесь только творить. И отдыхать...

— Вы, Андрей, его не слушайте, он вас заболтает на всю ночь! — появилась в дверях Нина

Фёдоровна. — Он всем соседям на улице швейные машинки перечинил. А уж сюда перетаскал... Со всех помоек! У нас тут филиал его швейной фабрики! Ну, ступайте. Душ готов.

Столбов по настоянию хозяев пошёл первым. Ему наскоро объяснили, как управляться с душевой колонкой. Он никогда и не видел таких. Высокий колоннообразный котёл с топкой внизу и душевой дудкой на верхушке. Сетчатый ящик с берёзовыми чурками. Два крана. Жестяной поддон с полиэтиленовой занавеской. Вот и весь душ. Кранами надо было постоянно манипулировать, вода шла то обжигающе горячая, то ледяная, но Столбов приноровился. А как хороша была пенковая мочалка... Она волшебным снимала чудовищную усталость минувшего дня. Но долго нежиться было нельзя. Надо было оставить горячей воды и для хозяина. Столбов вытерся, оделся, углядел половую тряпку и поспешно вытер лужи, которые наплескал.

Кухня была совсем маленькая, закуток, двоим не разойтись. Столик и две табуретки. Тут же — на самодельном шкафчике — газовая плитка на две конфорки. По стенам — сковородки, ковшики, половники, дуршлаг. На столе — скворчащая сковородка с жареной картошкой. Запах сногшибательный, слюной захлебнёшься. Нина Фёдоровна усадила его на табуретку, и он всё боялся, что она споткнётся об его торчащие на полкухни ноги.

— Рассказал мне о вас Василий, рассказал уж... Вы, оказывается, сегодня герой дня... Ну, ешьте. Да не стесняйтесь... Товарищ Вентилятор!

Столбов прыснул и захихикал.

— А что? — подбоченилась Нина Фёдоровна. — Спорить станете? Уж так хвалил вас Вася, так хвалил, едва не пел. Говорил, вот из таких, мол, и получаются настоящие люди... Да ешьте же, Андрей, что вы как не родной...

А Василий Васильевич за перегородкой вовсю плескался, весело ухал, фыркал и даже в самом деле напевал. Только вот за шумом воды нельзя было уловить мотив.

— Нет-нет... Подождём хозяина, — учтиво улыбнулся Столбов. — Вы уж меня и впрямь как совсем родного привечаете...

— А что ж не приветить? Хорошего человека сразу видно. А родные... Родные разъехались.

Уж десять лет бог знает где. Дочка-то ещё навещает изредка, а от сына только письма. Раз в полгода. Так-то вот, — вздохнула Нина Фёдоровна. — Вот и расти детей... Да я не жалуясь, не думайте. Жизнь... Что с ней сделаешь?..

— Да уж... — вздохнул Столбов. И выпалил вдруг: — У вас вот дети, а у меня родители разъехались. Хорошо, недалеко. Один живу. Навещаю изредка. Обоих. В новых семьях... Тоже ведь жизнь...

Кому другому не сказал бы никогда. Ни за что. Не смог бы. А тут как расслабило. Размяк. Будто и впрямь родному человеку. Как дома...

— Вон оно как... — пригорюнилась, подперев ладонью щёку, Нина Фёдоровна. — Чудны дела твои, господи, а люди-то ещё чуднее. Ну да ладно, ты уж взрослый мужик, не бери в голову да своего держись. Прорвёмся, товарищ Вентилятор!

Шум воды за стенкой смолк, и через пару минут в кухню вломился довольный распаренный Василий Васильевич. И блаженная улыбка так и светилась на его красном лице.

— Кого хороните, славяне? Выше нос! Э! Ещё не ели? Безобразия! — прогремел он хорошо отмытым голосом. — Так-так... Ну, праздник так уж праздник... — как-то осторожно зыркнул он по сторонам. — А, Нина Фёдоровна?

— Да доставай уж, чего там... — махнула полотенцем хозяйка.

Василий Васильевич подставил над самыми ногами Столбова табуретку, грузно вскарабкался, открыл самодельную антресоль, повозился, звякнул солидно и, повернувшись, водрузил на стол литровую бутылку венгерского вермута «Гельвеция».

Столбов опешил: подобные напитки начисто сгинули из магазинов со времён памятного горбачёвского указа.

— А? Какова диковина? — самодовольно крикнул хозяин, осторожно, чтоб не наступить Столбову на ногу, слезая с табуретки. — По случаю достался. Была у нас делегация из Внешторга. Ну, вот и перепало кое-что. У нас, правда, больше водку хлещут. Но по нынешним временам никто не отказался...

Разместиться втроём в этой тесноте за маленьким столиком было мудрено, и Василий Васильевич, усадив жену, сам остался сто-

ять, опершись задом о подоконник. Скрутил здоровенную пробку и разлил по стаканам вино. По кухне закружилась терпкий, хмельной, полынный дух.

— Ну, за знакомство. И, надеюсь, за дружбу. Так? — и хозяин вопросительно глянул на Столбова.

Тот лишь кивнул.

Нина Фёдоровна лишь пригубила. Глотнул и Василий Васильевич, дёрнул щекой:

— Микстура от кашля... Сладкий, зараза, а забористый... Ну-ка, гость, давай-ка до дна! Давай-давай-давай... Молодцом!

Столбов покорно, то и дело переводя беспокойный взгляд с хозяйки на хозяина, вытянул стакан. Вино было вкусным, но чересчур уж приторным. Отставил стакан, облизнулся вкусно и мягким, чуть посоловевшим взглядом обвёл тесную кухню.

— Эх... Хорошо у вас. Чудо как хорошо... Моя б воля — и не уезжал бы куда... — и тут же спохватился: не слишком ли для начала знакомства. — Ну, в смысле...

— Да ясно... — неуклюже отмахнулся Василий Васильевич и отхлебнул из стакана. — Ты закусьвай. Ещё ж не уезжаешь. А так знай — всегда милости просим. Хоть по делу, хоть так. Мы-то уж не ездим куда, одни вот живём. Приезжай. И тебе хорошо, и нам веселей. Товарищ Вентилятор... — и, вздрагивая плечами, сипло захихикал.

— И то правда, — вздохнула Нина Фёдоровна. — Ну, мужики, не засиживайтесь долго. Завтра на работу как-никак. А я пойду. Спать пора...

— Жаль... Спокойной ночи... — от души кукарекнул ей вслед Столбов. Что-то уж больно пьяный этот венгерский вермут... Вот и кухня вместе с Василием Васильевичем словно поплыла и закривлялась. Он крепко зажмурился и тряхнул головой. Остановилась.

— Ага... — кивнул ему хозяин. — Забирает? Ничего, это с первого. Пройдёт. Да и устал, небось, шутка ли, всю вентиляцию горбом да брюхом пропахал... Давай! — и набулькал в стаканы.

— Да это — что! — проглотив вино и прожевав картошку, словно боясь, что перебьют, зачастил Столбов. — Подумаешь, устал. Тут другое. Это ж для меня вроде экзамена. В первый раз такое дело. И вижу — люди-то верят, ждут...

Нельзя было оплошать. Вот что самое-то тяжкое. А горбом да брюхом... Это ничего... Только так до всего и допрёшь!

Василий Васильевич снова подставил табуретку и с удивительной прытью извлёк из антресоли ещё одну бутылку.

— Ого... А потянем?... — обречённо усомнился Столбов.

— А куда денемся? — отозвался хозяин. — Пить так уж пить, а не за шиворот лить, так ведь? По-нашему. По-рабочему. Экзамен, говоришь? Да... Молодцом. Выдержал с отличием. Был, значит, ещё студент, а теперь — настоящий специалист. Событие. Давай!

И опять булькало, дышало полынной степью мадярское зелье. И звенели в голове и ушах цыганские струны вместе с полными стаканами. И чуждый музыке Столбов вдруг стал перебирать пальцами на столе. Кухня опять зашевелила стенами, покривила окно, за которым никак не темнело, а на потолке оказались вдруг две совершенно одинаковые лампы.

— А вот у меня был случай... — забормотал Василий Васильевич и принялся негромко обстоятельно рассказывать. Говорил долго.

Случай, кажется, и впрямь был интересный и смешной, но слова как-то пролетали мимо ушей Столбова, будто по касательной. Он слушал, улыбался во всё лицо до красных ушей, и хотелось ему только одного: чтобы не кончался этот вечер, чтоб не замолчал его добрый новый и будто бы уже старый и закадычный друг, чтобы не пустели стаканы, чтобы и завтра вот так же сидеть, пить вино и говорить, говорить, говорить...

— Ну, товарищ Вентилятор, пойдём перекурим, потом, ясное дело, по последней — и на боковую... А то завтра мозгов не соберём! — и Василий Васильевич с неожиданной лёгкостью поднялся из-за стола.

Столбов так не смог. Он неуклюже встал, еле удержал собравшуюся упасть табуретку, угрожающе покачнул стол. Выпрямился, шагнул — и мягко врезался в стену. Подоспевший Василий Васильевич подхватил подгулявшего гостя под локоток и бережно вывел во двор, аккуратно миновав опасные ступеньки. На воздухе Столбов ошутимо взбодрился и огляделся. И оторопел. Сумерки. Точно такие же сумерки,

что были, когда они шли с фабрики. Будто время остановилось. Нет, он, кажется, безнадёжно пьян.

— А чего не темнеет-то? Ночь вроде... — боязливо пролепетал он.

— Ага. Ночь. Белая. Забыл? — захихикал над ухом Василий Васильевич. — Или не знал? Вот не поверю...

— Белая ночь? Да ну... Серая какая-то. Я-то думал...

— Побелеет ещё. Июнь только завтра...

На улице было свежо. Над речкой, за садом, бродил лёгкий туманец, гремели соловьи и скворчали лягушки. А за клубами тумана виднелись огромные освещённые окна.

— А это что? Фабрика? А, Василь Василич? — кивнул в ту сторону Столбов.

— Она самая. Это нам идти далеко кажется, через мост. А она — вот.

— Вон у вас как... Из дома работа видна...

— А как же? — подбоченился Василий Васильевич. — Тоже ведь моё хозяйство. А чего?

— Да нет... Понимаю. Вчера бы, может, и не понял, а вот сегодня уже понимаю. Люди у вас тут другие, вот чего.

— Да ладно. Люди как люди...

— Нет-нет, — с пьяным упрямством заспорил Столбов. — Я заметил: чем от Москвы дальше, тем люди лучше... Василь Василич... А... Василь Василич, вы где? — и заозирался потерянно.

Но хозяин стоял в паре шагов, блаженно прислонясь к дереву. Он не то стонал, не то мычал что-то, чуть помахивая рукой с горячей папиросой. Столбов не успел испугаться. Он понял, что Василий Васильевич поёт. Бывает же так, что поёт у человека душа, а сам он почему-то петь стесняется. Или опасается чего-то, как Штирлиц со своей «Степью широкой». Надо было поддержать, но как? Пытаясь поймать мотив, Столбов напряжённо вслушивался. И поймал. После паузы, когда Василий Васильевич снова промычал первую музыкальную фразу, гость робко подтянул:

— *Под окошком ветер,
Облетевший...*

— *То-ополь...* — спели оба, и Василий Васильевич заморгал на него изумлённо и благодарно.

— *Серебрист и светел,* — понеслось над двором под лягушачий аккомпанемент.

— *Дальний плач тальянки,
Голос одинокий,
И такой родимый,
И такой далёкий...*

Василий Васильевич пел, как пил, — вкусно, смачно, самозабвенно, наслаждённо откинув голову и прикрыв глаза. У него оказался звучный, мягкий, проникновенный голос. Столбов, подпевая, лишь поддерживал компанию. Ему казалось, что песня, как добрый подвыпивший друг, бродит по саду, нежно обнимает деревья и застилает белую ночь ласковым тёплым туманом.

— *Я и сам когда-то
В праздник спозаранку
Выходил к любимой,
Развернув тальянку...*

Допели. Помолчали, чтобы улеглось всколыхнутое. Василий Васильевич рассмеялся и от души хлопнул Столбова по плечу. Тот аж покачнулся.

— Спасибо, Андрей. И тут не подкачал. Ишь ты... Тоже поёшь, оказывается... Это здорово, когда человек выпивши поёт. Это... — он повертел рукой в воздухе и воздел её в сумеречную высь. — Это высоко!

И, сцепившись под руки, пробирались они по саду на свет подъездного фонаря. Штормило. Но пелось отлично.

— *Я иду в тишине
На знакомый тот перекрёсток...*

Песня будто бы пелась сама, пространно вытекающая из души, как доброе вино из бутылки.

— *Старый дом за углом,
Не могу на него наглядеться...*

Но наглядеться не дали. Звякнуло окно, и сонный девичий голос недовольно окликнул:

— Василь Василич, чего вы? С ума сошли, два часа ночи!

— Всё-всё... Молчим. Молчим. Идём спать... — суетливо зачастил опомнившийся хозяин.

Уже в коридоре Столбов услышал, как за их спинами тихонько приоткрылась дверь, раздавалось тихое «ой!» и громко шёлкнул замок.

Василий Васильевич хихикнул.

— Светка это, соседка наша. Славная девчонка. Ишь, тебя увидела, испугалась. Ни-

чего, познакомитесь как-нибудь... Ну? По последней?

— Не... Я и так уж... в ногах путаюсь. Может, на завтра оставим?

— Премудрость... — протянул по-церковному Василий Васильевич и многозначительно воздел указательный палец. — Ну, тогда давай заруливай, — и открыл дверь квартиры напротив. — Тут никого, съехали недавно... — сунул-ся, зажёл свет. — Кровать найдёшь, тут просто... Во-он она, видишь? Ну! Приятных снов. Андрей! — и с размаху протянул руку.

— Василь Василич! — и Столбов с разворота хлопнул по его руке.

Пошатнулись. Спасло рукопожатие.

По пути к кровати, разуваясь и раздеваясь, Столбов продолжал сквозь зубы напевать про старый дом за углом. Как лёг, не помнил. Вероятно, заснул в падении.

* * *

Затушив сигарету, Столбов чуть отступил от тёмного окна, но глаза продолжали бесцельно вглядываться в ночь, ловя собственное отражение — две золотистые искорки на давно не мытом стекле. Да... Скоро тридцать лет пройдёт с тех славных вечеров... Где оно, всё это? Где он прежний? Уже и песни-то те пере-забыл почти. «Ну, бывай, — сказал ему Василий Васильевич, провожая назавтра его на вокзал. В голове шумело от выпитого на посошок. — Приезжай. Мы ещё с тобой поедем. Мы с тобой ещё попоём!»

Попели. Недолго, правда. А теперь... И думать не хочется. Живы ли они? Вряд ли. Единственные в его жизни люди, которые... которых... А, да что уж теперь! Андрей Евгеньевич шагнул к столу, щедро налил и выпил. Отщипнул и бросил в рот корочку чёрного хлеба. И вдруг стены его кухни знакомо качнулись и поплыли. Глянув в окно, он озадаченно замер. Ему показалось, что в тёмном стекле нет его отражения. Он — вот он, стоит посреди кухни. Но отражения нет. Впрочем, может, занавеска тюлевая скрадывает... Тень-то есть, вон она... Пьян ты уже, Столбов, что ли? Мало ж тебе надо стало к старости... А, пьян так пьян. Чего

уж... И махом опрокинул ещё одну рюмку. Помотал лысой башкой, грузно сел к столу и опустил голову на руки. Голова гудела голосами и песнями. И какое-то странное чувство примешивалось к этому обычному нетрезвому звону. Он будто выросал сам из себя. Поднимался над собой. Как бабочка вылупляется из кокона. И этот уютный и безопасный кокон казался ему теперь тесным и мерзким. Куда, во что, в какие богадельни, в какое болото он загнал себя, искренне полагая, что живёт как все? Куда девался тот добрый, чуть наивный, но верящий в себя и в своё дело товарищ Вентилятор? Улетел, как Карлсон. Остался тихий алкоголик Столбов у разбитого корыта. Впрочем, нет, не разбитого. Вполне себе ладного корыта с ежедневной и довольно сытной похлёбкой. Трепыхался поначалу, стремился куда-то. Вперёд и вверх, как пелось в одной песне. А потом дошло, что незачем это. Ушла та эпоха, в которой это имело смысл. А теперь любые устремления закончатся тем же самым корытом. Ну разве что чуть позолоченным. С кусочками деликатесов в похлёбке. Перспектива — хоть куда. А главное, выбора нет. Маета, одна маета... А где-то синие сугробы убегают в лес... И тихим вечером бродит по лесу листопад... Без него.

* * *

А тогда, полмесяца спустя, Столбов уже уверенно шёл с вокзала знакомыми улочками этого внезапно подбравшего к нему городка. Уверенно, но тяжело. Руку оттягивал нелёгкий фанерный футляр с настольной — бабушкиной ещё — швейной машинкой. Груз, казалось бы, никчёмный: аппарат был давно и, казалось, безнадежно сломан. Но это был словно талисман, пропуск в недавно открывшийся для него мир. Повод для встречи. Свежий плотный и влажноватый воздух вытеснял из его груди всё намученное, неприятное и трудное. Сами собой расправлялись плечи и спина, наливались пружинистой силой ноги и легко — влёт, несмотря на тяжкую ношу, — переносили его через знаменитые здешние никогда не пересыхающие лужи и размашисто

мчали к заветной улице на восточной окраине.

Маленький городок и сам, казалось, рад был поскорее привести его на эту улицу. Послушно расступались и оставались позади старинные купеческие дома в жёлтой лупящейся штукатурке, и навстречу вставали совсем уже деревенские домики со скамейками у ворот, крепкими калитками, палисадниками из разноцветного штакетника, с неизменной — зелёной ещё — рябиной, глядящей из-за каждого забора.

Столбов, приближаясь, то и дело замирал сердцем: а как встрелят? а может, он не вовремя? нестати? Да и стоило ли ему принимать всерьёз те сердечные приглашения Василия Васильевича? Может, он из вежливости просто? Просто в ответ на оказанную помощь? Спасибо, мол, приезжай ещё... Но теперь-то его помощь не нужна, вентиляция работает, телеграмму на завод прислали с благодарностью... Премии выписали. Хорошую — пятьдесят рублей. Сделано дело. Ну и куда ж тебя несёт, Столбов? Но несло. Несло неудержимо.

Вот и калитка в редком низкорослом заборчике. Робкий поворот кованого кольца, звонкий бряк щеколды — и Столбов, совсем разволновавшись, опустил машинку на траву и застыл, разминая затёкшую руку. В саду сквозь утреннюю дымку виделось какое-то мелькание и доносились голоса. Чёрт, люди делом заняты, а он тут... В гости пожаловал, видите ли... Но малодушные раздумья были прерваны приближающимися шагами и непонятным поскрипыванием.

— Ого, кто это к нам? — раздался знакомый звучный баритон. — Мать честная, Андрюха! Собственноперсонный!

Василий Васильевич всплеснул руками и выронил верёвочную сбрую, за которую волок остов детской коляски с жестяной ванночкой. Тоже детской. Незапамятной давности.

— Ну, здорово! Вот встреча так встреча! — и хозяин, шагнув к Столбову, по-медвежьки облапил его. — И как кстати-то! К нам как раз сын приехал, дождались, наконец! Вот огородничаем. Прополка, понимаешь ли... От нашей сопливой погоды только сорняки хорошо растут! Ну, молодцом! А я уж боялся, нырнёшь — и с концами! А ты — вот он! Эй, Коля! Колька, да где ты там? Ты-фу ты, вот уж правда, где авиация — там бардак!

— Да тут я, не шуми... — пробасил из-за яблонь голос, очень похожий на хозяйский.

И к ним вышел рослый башкастый мужик лет тридцати. В брезентовых, со множеством карманов, брюках, майке и кедах. Ни дать ни взять старший помощник Лом из «Капитана Врунгеля». Только тельняшки не хватало. Короткие, густые каштановые волосы. Широкий лоб с высокими зальсынами. Приплюснутый, как у боксёра, нос. И добрые — отцовские — смешинки в глубоко посаженных глазах.

— Николай, — протянул он здоровенную жёсткую ладонь. — Ага, Андрей Столбов? Наслышан. Отец все уши прожужжал. Товарищ Вентилятор... Я так и представлял тебя. С пропеллером! — и неожиданно тоненько хихикнул.

— А ну тебя! — отмахнулся Василий Васильевич. — Ты, Андрей, его не слушай. У него у самого четыре пропеллера — два в петлицах, два на погонах. Куда там Карлсону! Ну, пошли, пошли... Переоденешься — и с нами за работу! На моей барщине всем места хватит! — и, властно махнув рукой, зашагал к дому.

— Лётчик? — мельком, с улыбочивым интересом спросил Столбов, подхватывая швейную машинку.

— Не-ет, авиамеханик, — рассмеялся Николай. — Да давай понесу... Тыщу лет дома не был, и вот перевели сюда. В Сиверскую, тут недалеко, полчаса электричкой. А служил в Иркутске. «Славное море — священный Байкал...»

— «Славен корабль — омулёвая бочка...» — подпел, обернувшись, Василий Васильевич.

И все троём вознамерились было воззвать к баргузину¹, как вдруг хозяин, остро глянув на футляр в руке сына, ахнул и подскочил к ним.

— Это чего? Ну-ка, ну-ка... — щёлкнули замки. — Ага... подольская... послевоенная... Чего с ней? — и опустился на корточки. Потом — на колени. Покрутил. — Ага... Осечки даёт... Вижу... Ерунда, полчаса работы. Андрюха, и ты... в такую даль? Там у вас что, мастеров нет?

¹ Баргузин - северно-восточный ветер на Байкале. Из песни, в основе которой стихи Д. П. Давыдова: Славное море - священный Байкал, Славный корабль - омулёвая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалёчко...

— Не знаю. Мне вот хотелось, чтоб её починили именно вы, — без капли лести выпалил Столбов. Не задумываясь. Потому что в этот момент все его сомнения начисто улетучились.

— Дружище... — просиял, поднимаясь с колен, Василий Васильевич. — Ну, спасибо, уважил. Да, а с какой это радости ты со мной на «вы»? Отставить!

— Виноват, дядя Вася! — вытянулся по стойке «смирно» Столбов.

Николай громогласно расхохотался. От отца и сына знакомо попахивало мадьярской степью.

— Да что ж вы человека с дороги запрягаете! — хлопотала Нина Фёдоровна, то и дело всплёскивая руками. — Дайте хоть отдохнуть, поесть... Вот ведь какие, работун на них напал! На вокзале поел, говоришь? Знаем мы эти вокзалы! Сейчас борщ разогрею, вчерашний, настоялся! Ну, Андрюша, ну, молодец! Двойной праздник нам устроил. Коля приехал — и вот ты... А мне кажется, это ты наколдовал, чтобы Коля приехал! Говорили же мы тогда с тобой, помнишь? Нет-нет, не спорь, тут без тебя не обошлось. Ты у нас как подкова — на счастье!

Слушал её Столбов и краснел. Всё-то ему казалось, что не заслужил он таких слов, что всё это не ему, не за что, не по Сеньке шапка... Слишком привык к неискренности, когда в глаза — одно, а за спиной — другое. И никак не мог поверить, что бывает иначе.

А потрудились они тогда славно. С хохотком да прибаутками. Дёргали сорняки на огуречных и морковных грядках. Махали тлячками на картофельных бороздах. Василий Васильевич насилу успевал отвозить траву на своей исторической тележке. Николай между делом объяснил, что детская коляска — его, а жестяная ванна — ещё отцовская. Его, маленького, купали в ней в далёкие военные годы. Такой вот двойной раритет. Сам Николай приехал сюда на несколько дней «на разведку». Жена пока в Иркутске. В Сиверской обещают квартиру. Завтра поедет смотреть. Дети? А как же! Дочка. Пять лет. Но нет, он на этом не остановится, ещё и сын будет.

— Вот так и плантаторствуем, Андрей... — гудел о своём, подходя, Василий Васильевич. — А чего, плохо ли. Всё лето своя закуска. И на зи-

му хватает. Эх, а сюда б ещё навозцу! — мечтательно замер его голос. — Коровьего. А ещё лучше — лошадиного. Так тут и апельсины выращивать можно будет!

Ломило спину и подкашивались ноги, когда они, ополоснувшись, устраивались за раскладным столом в комнате среди царства швейных машинок. На столе, кроме вермута Василь Васильевича, красовались две бутылки водки. Одну с видом заправского фокусника извлёк из своей необъятной сумки Николай, а вторую — из внутреннего кармана ветровки Столбов.

Досталась она ему с превеликим трудом. Пришлось отстоять огромную очередь, похожую на кольцо Сатурна вокруг магазина. И ощущения походили на космический полёт с перегрузками. Но пилося отменно. Андрей сегодняпил вермут пополам с водкой. По чуть-чуть: боялся переусердствовать. Но было как-то легко и спокойно. Как дома. Впрочем, нет. Лучше. Дома он и представить себе такого не мог. Просто не пришло бы в голову. А сейчас его голова чуть кружилась, захватывало дух и всё больше хотелось говорить. И петь.

А разговор кипел.

— Вот не понимаю, хоть тресни! — негодовал Николай, широко разводя ручищами и вздёргивая плечами. — Не понимаю! Ну, ладно — борьба с пьянством. Но зачем людей унижать этими очередями? Мол, вот вам, алкоголики! Мало, что водку по червонцу сделали, так ещё и стой за ней три часа! Нет, это добром не кончится...

— Ха, удивил! — отозвался Василий Васильевич. — За водкой! У нас теперь и за сахаром стоят. И за мылом. И за яйцами, прости господи! Привыкай. Теперь так! — с этими словами он разрезал вдоль огурец, посолил, соединил обе половинки, потёр друг об друга и аппетитно хрустнул. — А чем кончится... Ох, ребята, и не знаю. Поначалу-то интересно было. Ускорение... Обновление... Перестройка... Тьфу, теперь и сказать-то противно. Забрели в какую-то... запендю, — выговорил он, опасливо покосившись на Нину Фёдоровну. — Что ни день, то хлеще... Вот разве товарищ Вентилятор прояснит. У вас-то там, в Москве, что говорят, а, Андрюха?

— А... То же самое, а то и похуже. А по-моему,

в запендю мы забрели ещё в семнадцатом. Социальный эксперимент... Общество справедливости! На страхе да на крови... Кончились страх да кровь — вот всё и посыпалось. Не знаю... Мне вот как-то не жалко! — от души, с сердцем провозгласил Столбов.

— Да ну... Ты уж хватил, — слегка опешил Николай. — Вон рывок-то какой сделали! И в войне победили, и в космос полетели... И что, на одном страхе? Так не бывает.

— Да уж, Андрей, заносит тебя... Чего ж теперь — опять в капитализм? — смешливо глянул на него из-за бутылки вермута Василий Васильевич. — Благодарю покорно, идите в задницу! Столько сил положили, промышленность вон какую отгрохали — и всё отдать богатым дядям? Во! — и сложил виртуозный кукиш. Такой, что широченный большой палец далеко выглянул из кулака и издевательски закланялся.

— А чего? — пожал плечами Столбов. — Во всем мире так. И живут ведь, черти! Ещё как живут! Одни мы цепляемся, понимаешь, за химеры какие-то. Победители! А сами без штанов! Можно подумать, и так бы в космос не полетели и заводов бы не построили! Может, и войны бы тогда не было!

— Ага, — хмыкнул Николай. — Точно. Не было бы. Сожрали бы нас гораздо раньше. И костей бы не выплюнули...

— Ну, это бабка надвое сказала, — ерепенился Столбов. У него накопился целый ворох всяких идей и мыслей, и вот наконец нашлись собеседники. — Кто нас только сожрать ни пытался. И татаро-монголы. И поляки. И турки. И французы. Всем в конце концов навалили! Без всякого социализма, без лениных-сталиных и марксов-энгельсов! И тут обошлись бы, глядишь, и дешевле вышло бы! А капитализм — это у нас пугалка такая. Там ведь всё теперь по-другому. Да они там ближе к этому самому коммунизму, чем мы тут! И на кой они, эти революции, ну их к чёрту!

— Ну-ну, — опять усмехнулся Николай. — Ты, отец, гляди: вот работаешь ты сейчас на своей фабрике. Зарплату получаешь. А при капитализме у тебя ещё и акции будут, с них процент будет идти. На сберкнижку. Ох, заживёшь! Земли прикупишь, батраков заведёшь. Лафа!

— Тьфу! — отмахнулся Василий Васильевич и мелко захихикал. — Черти! Фантазёры! Чего там батраков-то, давай уж сразу крепостных. Назад — так уж назад. К истокам, так сказать. А, Вентилятор? Чего молчишь-то? Сказал «а», говори и «бэ»!

— Ну, не торопи, — рассмеялся Николай. — «Бэ-э» он скажет, когда перепьёт!

— Да будет уж вам! — замахала на них руками Нина Фёдоровна. — Вот здоровы спорить! И чего вы, мужики, всегда как подопьёте, так за политику? Ну её, раздоры одни! Чего там будет, как будет... Нас не спросят. А нам с тобой, Вася, чего уж... Наша-то жизнь решилась уже. Внуков нянчить будем, дожили наконец-то.

— Вот это верно! — хлопнул ладонью по столу Василий Васильевич. — Вот это бесспорно! Ну, Коля, с возвращением! И давайте spoём. Хватит трепаться!

И запели. Пошевеливал вал долгожданный баргузин. Поначалу как-то вяло, нерешительно. Чуть стеснялся Столбов, искоса поглядывая то на Николая, то на Нину Фёдоровну. А не лишний ли он тут, не мешает ли, не обойдутся ли здесь и без него? Но ничего неприязненного, вынужденного так и не заметил. А после очередной рюмки и вовсе осмелел и принялся подтягивать во весь голос. И даже, как заправский ударник, самозабвенно отбивал металлический ритм ножом по вилке, когда пели «Во кузнице». Это была любимая песня Нины Фёдоровны. Она то и дело смешливо и благодарно взглядывала на «молодых кузнецов».

А в перекуре на крыльчке у Столбова будто отросли крылья, и он парил. Высоко и вдохновенно, бормоча какие-то прочувствованности и донимая хозяев одному ему известными стихами. И привкус вермута, сладкий, терпкий и будоражащий, рождал удивительные образы и заковыристые речевые фигуры. Он вздымался в груди, распирал, возносил до небес, и тогда двор, дом и сад то оставались далеко внизу, то плавно приближались, и ноги будто сами собой спружинивали при мягкой посадке. За стол возвращались хохоча, от души похлопывая друг друга по плечам и шутливо толкаясь. Впереди было ещё много вина и песен. И душа Столбова наслаждённо купалась в привольности и блаженстве.

Уже отбулькало по рюмкам, и Столбов по-гусарски вскочил, желая произнести тост, но вдруг осёкся. На пороге комнаты, будто не решаясь войти, стояла невысокая миловидная девушка в строгой коричневой юбке до колен, голубой блузке и короткой — до пояса — жилетке нараспашку. Через плечо висела коричневая же, похожая на грелку сумочка. Длинные прямые пшеничного цвета волосы были плотно схвачены сзади обычной чёрной резинкой, и новая гостья походила из-за этого на тоненький, остро отточенный карандаш. Ничего особенного, но поэтически подвыпивший Столбов углядел на её живом остроном лице удивительные глаза, которые, казалось ему, лучились в наступающем уже вечером полумраке комнаты.

— А... — только и выдавил он, смешно застыв с рюмкой в руке.

— Ещё не «бэ»? — услужливо осведомился сидящий рядом Николай.

— Ой, Светочка! — обернувшись, всплеснула руками Нина Фёдоровна. — Да заходи, заходи, шумно сегодня у нас! Садись, вот тебе тарелка...

— Рюмку! Рюмку ей! Штрафную! — рассмеялся Василий Васильевич. — Не тушуйся, Светланка, всех уже знаешь!

— Знаю! — тихонько хихикнула Света, осторожно садясь и оправляя юбку. — Здравствуйте... Те же и товарищ... — она помахала ладошкой у лица, будто припоминая. — Товарищ Вентилятор?

Грохнул общий хохот, и Столбов ощутил вдруг, как наливаются жаром щёки и уши, а сам он неудержимо трезвеет.

— А ты как думал, Андрюха? — подмигнул ему Николай. — Это слава. Принимай как есть...

— Да ну, ладно уж вам... — смущённо заотманивался Андрей.

— А вы напрасно, — строго и ярко, чуть склоня голову, глянула на него девушка. — С вашей вентиляции в цехе наконец-то продохнули, пыль как выдуло. Спасибо.

— Да не за что. Ведь так и надо... — промямлил Столбов.

— Эк заклинило-то нашего Цицерона! — поднялся с места Николай. — Света, пьём за вас! За лучик света в нашем темнеющем царстве! Ура!

— Ура! Ура! Ура! — дружно грянули мужчины. И лихо, с отмашкой, осушили рюмки. Света, чуть пригубив вермута, облизнулась и отставила фужер.

— А у вас здорово, — объявила она, оглядевшись. — Ну? А петь ещё будете? Обязательно? Ого... А про клён опавший? Сможете?

— Спрашиваешь! — повёл плечами Василий Васильевич. — Ну, поющая эскадрилья, от винта!

И грянули. Три совершенно разных и совсем не певческих голоса удивительно слились и дополнили друг друга. Тоненько и звонко подтянула Нина Фёдоровна, смягчая мужской рокот. Света, кажется, лишь неслышно шевелила губами. А Столбову казалось отчего-то, что он поёт только ей и для неё. Он будто бы тянулся к ней через стол своим незвонким, глуховатым голосом. «С чего бы это? С какой стати?» — мысленно пытался он одёрнуть себя, но странное притяжение было сильнее разума.

А тут ещё Света заявила, что обожает Визбора. Андрей вспыхнул, как порох. Нет, это неспроста. Не бывает таких внезапных совпадений! Удивительно простые слова и незатейливые образы негромко и неторопливо вошли в комнату, вызвав задумчивые, блуждающие улыбки на лицах поющих. Пока стояли лыжи у печки и развешивал флаги разлук старый Домбай, Столбов сосредоточенно глядел в свою тарелку. Но, когда дошло до «Солнышка лесного», не удержался, поднял глаза и утонул, канул, растворился в благодарном и восхищённом девичьем взгляде. Устоять было нельзя. Никак невозможно, и Андрей так и глазел на Свету всю песню, будто бы именно к ней обращался в припеве. Кончилась песня, короткая она, но так хотелось продлить это сладкое очарование, что он, отчаянно боясь, как бы не перебили, выкрикнул вдруг:

— А давайте ещё одну! Вот эту... — повёл, не дожидаясь остальных:

*В то лето шли дожди
И плакала погода
Над тем, что впереди
Не видела исхода...*

Он лидировал, а Николай с Василием Васильевичем подтягивали ему в припеве. Наконец проняло всех, и трое мужчин, обнявшись

за плечи и покачиваясь, как на волнах, чуть пьяно, но душевно завершили:

*Не жалейте меня, не жалейте,
Что теперь говорить, чья вина...
Вы вино по стаканам разлейте
И скажите: «Привет, старина!»
В кровь израненные именами,
Выьем, братцы, теперь без прикрас
Мы за женщин, оставленных нами,
И за женщин, оставивших нас...*

И вот тут случилось неожиданное. Света странно всхлипнула, вскочила и стремительно выбежала из комнаты. И грянула, как гром, тишина. И слышно было, как пищат над столом налетевшие в форточку комары. И как трепыхается по оконному стеклу ночная бабочка. Все медленно переглянулись. Столбов вскочил было, но Василий Васильевич хозяйским взглядом осадил его.

— Не надо. Мало ли... Мы ж ничем её не обидели. Пусть перекипит, — тихо, но веско проговорил он.

— Ох, певуны... — улыбнулась Нина Фёдоровна. — Расквасили девчонку...

— Ничего. Так и надо. Чтобы проняло. Иначе и петь незачем... — отозвался Николай.

— Да, — вздохнул хозяин. — Песня лечит. Жизнь калечит, а хорошая песня — лечит.

— А окончательно исцеляет хорошая выпивка, — заключил Николай и наполнил рюмки. — Ага! Вот и наше солнышко лесное! Расстроили мы вас, Света?

— Что вы, нет... — пролепетала девушка, возвращаясь на своё место. Видно было, как пунцово пылают её щёки. — Это так... Личное. Нахлынуло...

— Волшебная сила искусства... — едва нашёл в себе силы пробормотать Столбов.

Света коротко глянула на него, еле заметно кивнула и опустила глаза. Так и не смог больше Андрей поймать её взгляда. Через несколько минут она вдруг заторопилась, попрощалась и вышла.

Как закончился вечер, Столбов не помнил. Не потому, что был слишком пьян, вовсе нет. Глаза. Яркие, лучистые Светкины глаза так и глядели на него. Со стены. Из угла. С тарелки. Из рюмки. И был он размякшим и рассеянным. Последнее, что запомнилось, был сарай в

дальнем углу сада, где они с Николаем, пригостившись на верстаке за полбутылкой вермута, нестройно пели про Серёгу Санина.

А на следующий день провожались. Всея гурьбой. Столбов уезжал домой, а Николай — на свой аэродром в Сиверскую. Отремонтированную и отлаженную швейную машинку несли по очереди, как ценную реликвию. Андрея охлопали по плечам, посадили в электричку и долго махали ему в окно. Поезд тронулся, провожающие исчезли из виду, и тут Столбов крупно вздрогнул. У перил платформы стояла Света и неотрывно глядела на медленно плывущие мимо вагоны. Ветерок осторожно колыхал её юбку и сдувал на сторону пшеничную волну волос. И глаза. Яркие серые глаза, которые не привиделись спяна, не приснились, не придумались. Он никак не ожидал увидеть её тут. Даже помахать не успел...

* * *

Крылья... Будто те самые, крепко позабытые и давно отвалившиеся крылья вырастали за его спиной. И сам он продолжал вырастать. Из самого себя. Так странно это было: он по-прежнему сидел за столом, плотно ощущая задом стул, и возносился всё выше, к самому потолку. Коньячный свет настольной лампы стал ярче и контрастнее, все предметы кухни обрели удивительную отчётливость и ясность, будто с глаз Столбова слетела вдруг многолетняя пыль. Зато каждая пылинка и соринка на столе, на стене и потолке были видны, как под увеличительным стеклом.

К своему изумлению, он смог прочитать даже мелкий шрифт на стенном календаре, что висел далеко напротив, в тёмной прихожей. «Гатчина. Приоратский замок». Гатчина... Это же там. Это же совсем рядом... Но откуда здесь этот календарь? Почему он раньше не замечал его? А может, он спит и ему это снится? Недолго думая, он полез пальцами в пепельницу, где вяло подымливал недодавленный окурочок, и тут же отдёргнул руку. Жжётся. Значит, не сон. И ничего не изменилось. Зад его по-прежнему основательно покоился на стуле, а голова и плечи словно парили под потолком. При этом

тень на противоположной стене была обычной, короткой, и состояла почти из одной лишь неимоверно огромной лысой лобастой башки. Угол падения равен углу отражения... А ему казалось, будто в самые глаза лезут жёсткие волосы от незачёсанной чёлки над лбом.

«Что-то будет... Что-то будет...» — выстукивало, опасно замирая, сердце. Опасно, но сладко. Никакого страха не было. Ясно было, что с ним происходит что-то странное и небывалое, но не страшное. Да если бы и страшное — разве он не заслужил этого за последние четверть века своего добропорядочного существования на земле? Это было бы даже наименьшим из заслуженного... И тут рука помимо его воли потянулась к бутылке с перцовкой, наполнила рюмку, и послышался смачный глоток. Во рту стало горько и глуже. Столбов выдохнул — и на губах ощутил вдруг полузабытый привкус. Тот самый. Полынный. Мадыарский... Маета, одна маета... Господи, как же хочется вермута... Эх, нет теперь венгерского... Да хоть какого! Он вдруг мягко опустился на пол из-под потолка и легко — летяще — вышел в прихожую. И показалось на миг, будто сам себя со спины увидел — стройного, прямого, с дерзко и устремлённо отведёнными назад плечами... Но это, скорее всего, лишь показалось. Он нащупал на вешалке ветровку, надел, сунул ноги в странно растоптанные, хлябающие туфли, повернул ключ в замке и вышел. До самого порога его словно кто-то легонько, но настойчиво, поторапливая, толкал в спину. «Не оглядывайся... Не оглядывайся...» — шелестело не то в ушах, не то прямо в голове. Это было вовсе не страшно. Он ничего не боялся. Ему было всё равно. А оглядываться совсем не хотелось. Только бежать. Бежать без оглядки.

Тёмный двор всегда по ночам был плотно заставлен машинами. Так, что пробираться по нему приходилось обычно боком, то и дело отирая пыль с дверей, крыльев и бамперов. Но сейчас Столбов, легко лавируя, словно не замечал препятствий. Он легко проскальзывал даже там, где, зная свои размеры, обязательно затиснулся бы пузом или задом. Удивиться этому он не успел: очень спешил. Недоумевать начал уже на улице, когда ловко, как кузнечик,

заскакал через лужи. Будто позабылся лишний вес и застарелый артроз коленей. Да и привычная одышка куда-то улетучилась. Налетел со спины ветер, бросил вперёд борта незастёгнутой ветровки, и Столбов чуть опешил, обнаружив, что куртка обвисает на нём мешком. Но долго раздумывать над всякой ерундой было некогда. Это потом. Завтра. А сегодня — сейчас! — он летит. Это его ночь. Разве не ясно? Разве не видно? Прыжок — полёт — приземление. Мягкое, пружинистое. Оттолкнуться — и снова полёт... А куда полёт-то? В магазин за вермутом? И всего-то? Ну, там посмотрим... Неспроста это всё. Неспроста, что-то стоит за всем этим. Такое, о чём с тоской думаешь всю жизнь, засыпая по ночам. Подумаешь — и уже не заснёшь. И ворочаешься всю ночь, тяжело вздыхая и поругиваясь. Потому что несбыточно. Уже несбыточно. Все повороты и развилки уже давно позади. И вот шанс. Небывалый шанс, товарищ Вентилятор. А о странностях подумаем после. С похмелья. Времени будет много. Вагон. Море... Нет, целый океан.

А вот и магазин. Круглосуточный. В окнах — свет, дверь нараспашку, милости просят... Вот только теперь по ночам эта милость больше на милостыню смахивает: запретили спиртным по ночам торговать. Но народная тропа, минуя главный вход, пробилась к служебной двери со стороны пустыря. Там окошко с задвижкой, как бойница в старом броневике. А за ней узбек дежурит. Толцые — и отверзится. Никаких чудес. Всё сбыточно. В пределах ассортимента. И вот она, плосковатая литровка вождественного вермута. Хорошо хоть, — Столбов всегда отчётливо помнил такие вещи, — зарплату сегодня из кармана не выложил. Так и лежала эта нежирная «котлета» во внутреннем кармане. Ну-ка... Ага. Так и лежит. Что ж, всё пока складывается отлично. Мечты сбываются. Ночь рожденья. Именины сердца. Но к чёрту, к чёрту... Времени мало, надо спешить.

Сбежав в замусоренный овражек тут же неподалёку, он дрожащими пальцами скрутил пробку и жадно, нетерпеливо прильнул к горлышку. Отзовитесь, горнисты... Отозвались. Да так, что будто взорвалось что-то сначала в желудке, а потом — в голове. Знакомо взорвалось. Как тогда... И травянисто-ароматная ви-

ноградная микстура, вихрясь в запрокинутом сосуде, винтом уходила в горло. Шла легко. Как вода. Переводил дух — и снова... И гудело в голове пронзительное соло на трубе. Пошатнулся. Постоял, приходя в себя. Нет. Ничего не случилось. Только в башке гудит всё сильнее. И басовитее. Как целый духовой оркестр. И музыки не разобрать. Но, кажется, не похоронный марш. И то спасибо.

Вдохнул разочарованно, размахнулся — и полетела пустая бутылка в кусты. Его самого понесло в противоположную сторону, едва устоял. Вот и всё. Неужели всё? И ради чего? Привкус вермута... Вот он, теперь впору пчёл разводить. Насквозь пропитался. Хотел — получай. Чтоб всю оставшуюся жизнь с души воротило. Тьфу... Да ведь надо ж ещё из этого чёртова овражка выбраться... Выползти. Ноги-то ватные уже. А то придётся на помощь звать. Перелётных ангелов. Так, что ли, в песне было...

Но — вот странность — ноги, которых он уже не чувствовал, с удивительной лёгкостью вынесли его наверх. Ему показалось даже, что он оттолкнулся — и полетел. Как на Луне. Прыжок — полёт — приземление. Чудеса продолжают, товарищ Вентилятор. Голова больше не кружилась. Не шатало. И с каждым шагом накатывало удивительное прояснение. Будто не вермут пил только что, а эликсир трезвости. Появилась пронзительная, невиданная ясность ума. Он видел всё насквозь и вглубь. Он не сбился бы с дороги и с закрытыми глазами. Он обошёл бы весь земной шар. Но домой. Надо домой. А то завтра... А что — завтра? Обойдутся и без него. Везде. И заметят-то не сразу, что его нет. Так, может, не надо домой? Нет, Столбов, не дури. Ты опасно пьян. Разум, разум, товарищ Вентилятор!

Но разум как-то не спешил ему на помощь. Никак не отзывался. И даже не пытался объяснить происходящего. Вот его дом. Его подъезд. Вот окно его кухни. Коньячный свет за тюлевой шторкой. Но почему ноги отказываются идти? Эти самые ноги, которые только что несли его едва не по воздуху, как в сапогах-скороходах? Теперь с каждым шагом они будто пускали невидимые корни, и огромных сил стоило вырвать их из земли. Он продрался-таки к подъезду, схватился за ручку двери и вздрог-

нул, и передёрнулся всем телом, как от электротока. Нельзя. Домой нельзя... По правде говоря, это не очень его обескураживало, но было пока непонятно. Да, это его дом. Его подъезд. Но ему там делать нечего. Почему? Да потому, что... Разгадка была совсем близко, он нащупал её, но никак не мог поверить в такое. В этом надо было удостовериться.

Смирная частое сердцебиение, он сделал несколько шагов и оказался под окном своей кухни. Оно лениво проливалось во двор коньячный, тягучий, как кисель, свет. Очень хотелось заглянуть туда. Подлезть как-нибудь и заглянуть. Но стоило лишь шагнуть к дому, как по всему телу вспухали жёсткие колючие мурашки и подкашивались ноги. Вдруг за занавеской почудилось какое-то призрачное движение, промелькнула крупная неясная тень и окно потемнело. Кто-то грузный и неуклюжий стоял там, за занавеской, и безразлично — невидяще — глядел в темноту. Столбов отскочил. Отлетел через проезд к стене соседнего дома. И уже оттуда, издали, увидел, как силуэт у окна шевельнулся, посторонился и из-за его спины на занавеску выпала тень стоящей на столе бутылки. Длинная и шуплая, как на натюрмортах французских экспрессионистов.

Столбов усмехнулся. Потом улыбнулся. Рассмеялся. Расхохотался. Вскочил, помахал рукой, изобразил неприличный жест. Страх как ветром выдуло из груди. Он дома. А значит... Значит, вот оно. Свершилось. Он свободен. «Сво-бо-ден!!!» — заорал он, подпрыгнув. Чувство было точно такое, как бывает во сне, когда видишь сон — и понимаешь, что это сон. Всего лишь сон. И можно делать что угодно. Вытворять любые кренделя. Свобода. Та самая свобода, которой хотят все, но никто не может себе позволить. А он может. Сегодня — может.

Он чуть поуспокоился. Яростный, крепко забытый за долгие годы азарт всеисилия был до того сладостен, что пришлось даже прислониться к тополию напротив окна, чтобы отдышаться и привести в порядок мысли. А мыслей и не было. Был непостижимый кавардак образов и чувств. Понемногу они стали затихать и выстраиваться в какое-то подобие логики. Он глядел из темноты на собственный силуэт в окне, и на губах егозила недобрая усмешка. Ишь,

развспоминался... Шадишь себя, дружище. Главного не вспоминаешь. А я-то помню. Я всё о тебе помню. Дрянь ты, Столбов. И ну тебя к чёрту. Не хочу я больше смотреть на тебя, противно. Старая, лысая, пузатая черепаха.

* * *

Хорошо было у Светки в комнате. Чудо как хорошо. Неяркий свет торшера в углу. Замысловатые тени на белом потолке. Красный глаз старой радиолы «Серенада» на письменном столе у стены. Неяркие, задумчивые блики на трельяжном зеркале. И отблески в многочисленных флакончиках и пузырьках на подзеркальном столике. Массивный, поцарапанный в переездах старый книжный шкаф, казалось, ссутулился в неуклюжем поклоне, да так и застыл. Между ним и диваном был узкий проход — вот и всё свободное пространство. Но было в этой комнатке целых два окна. Светки на светёлка... Они приходили сюда курить. Открывали окна — и подолгу сидели. Она — на диване, подтянув к себе колени. И он, осторожно примостясь, на единственном стуле у трельяжа. На самом краешке. Будто боялся, что уличат его сейчас в чём-то постыдном и с треском вытурят. На краю дивана стояла тяжёлая пепельница, и дым слоями стелился в торшерном свете. Торшер был затейливый. С матерчатым абажуром, под которым на двух шнурках висели деревянный Буратино и пластмассовый голышок. Дёрнешь за голышка — свет погаснет. Потянешь за Буратино — вспыхнет. Так и сидели. Молча. Изредка вместе с ними заходил Василий Васильевич. Выкуривал свою терпкую ленинградскую беломорину — и поспешно удалялся, не забыв участливо и ободряюще подмигнуть Столбову. А они сидели, глядели друг на друга — и молчали. На Светку он мог глядеть бесконечно. Очень живописен был изгиб её спины под простеньким, выцветшим домашним платицем, короткая, цвета июльской соломы, толстая косичка волос, упавшая на грудь, и крепко обтянутые колготками колени. Щёки и скулы пунцово пылали, а серые, чуть плывущие глаза стеснялись — и смеялись.

— Ну, чего ты... — подала она еле слышный голос. — Сказал бы чего-нибудь, что ли...

— А нужно? — помедлив, отозвался он.

Светка лишь плечами повела и улыбнулась загадочно. Глаза прикрыла и голову запрокинула наслаждённо. Так, что её макушка легонько стукнулась о стену. За обоями что-то еле слышно зашуршало, будто посыпалось. Она прыснула, совсем по-девчоночьи прикрыв рот ладошкой. Столбов сдержанно кашлянул.

— Это что, тараканы в голове? — осторожно спросил он.

— Не-а. Хуже. Короеды... — и распахнула глаза во всю яркую лучистую ширь.

Не стеснялись уже глаза. Смеялись. Хототали.

Захихикал и Столбов. Боязливо поначалу — как бы не обидеть. А потом, поддержанный залистым Светкиным смехом — в полный голос. Рассеялась таинственная полутьма, и сама комната будто расступилась, стало в ней просторно и воздушно, будто дунуло в распахнутые окна свежим ветерком. Стало совсем легко. Вот взять бы сейчас с дивана на руки эту хохочущую девчонку, прокружиться пару раз по комнате, да и поставить на стол, как статуэтку... Или на шкаф посадить, что ли... Но Светка замолкла вдруг, перекинулась плавным движением на корточки и встала:

— Пойдём уж. А то неудобно — ушли и застряли... — перемялась с ноги на ногу на диване.

Столбов, вскочив, хотел подать ей руку, но как-то сами собой протянулись обе руки, и Светка оказалась в его объятиях. Диван уравнял их рост лицо в лицо. И губы — тоже сами собой — соприкоснулись. Сначала робко, а потом, почуввав безнаказанность, жадно впились друг в друга. Целовалась Светка самозабвенно, прикрыв глаза и обдавая Столбова шальными искрами из-под полуопущенных век. Сопел товарищ Вентилятор, елозил с грубым шорохом ладонями по тёплой упругой Светкиной спине, летел, кружась, в какие-то звёздные тартарары, но то и дело косился на дверь: господи, не вошёл бы кто... Господи, ну ещё чуть-чуть, ещё немножко...

За столом сидели как замороженные, даже не косясь друг на друга. Хорошо, догадались рядом сесть, а не напротив. А то думай, куда

глаза девать... Чёрт, и перед хозяевами неудобно — приехал, как ни крути, всё-таки к ним, а получается... Впрочем, тут товарищ Вентилятор слегка лукавил с самим собой. Все три недели до этого приезда он только и думал о Светке. Так и стояла она перед ним, как в день расставания, на платформе у перил... И вот свершилось. К лучшему ли, к худшему — он не знал. Без ответа оставались и самые банальные вопросы: зачем? и что дальше? Ничего не знал Столбов. Ему просто было хорошо. Он был расслаблен, разнежен и весь исколот невидимыми сладкими иголками. А во рту — привкус вермута. И Светкиных губ. Будто прерванный только что поцелуй втайне от всех продолжался.

— Н-да, Андрей Евгеньевич, дело-то, кажись, и впрямь серьёзное... — покачал головой Василий Васильевич, когда они вышли в сад перекурить.

— Да нет ещё никакого дела, — пробормотал, как сквозь туман, Столбов. — Как в песне. Туман, туман...

— Положение безвыходное, — пожал плечами Василий Васильевич, сунулся в сарайчик, погромел, побряхтел и, как довольный колобок, выкатился с полной бутылкой вермута. — Будем прозревать будущее!

— Дядя Вася, да сколько ж у тебя этих телескопов-то? — изумился Андрей.

— Хм, — заговорщически прищурился Василий Васильевич. — До свадьбы хватит... А чего? — перехватил он укоряющий взгляд гостя. — Девчонка что надо, где ты лучше найдёшь? Умная. Самостоятельная. С достоинством. Видишь, не захотела дома у родителей на шее сидеть, уехала. К нам на фабрику пришла. В техникуме учится. Заочно. Вот комнату дали: я похлопотал. Так что она нам вроде дочка младшей. А сладится у вас... Да не журишь ты, ишь, скривился! Так вот, сладится — переедешь, я и ещё похлопочу. Чтoб вон та пустая квартира вашей была. Места — завались! Работу тебе подберём по высшему классу, тебя здесь уже знают. Эх, заживём! Хотя, конечно, Москва... — чуть помрачнел хозяин. — Ну, тебе видней...

— Да что там Москва... — махнул рукой Столбов. Неловко махнул, нетрезво. — В ней, что ли, дело...

— Вот и я о чём...

И долго ещё сидели они на скамейке под яблоней, прихлёбывали вино и негромко гудели. Василий Васильевич — как солидный работающий шмель, мерно и обстоятельно, а Столбов — как нервная залётная муха — тоном выше, обрываясь и замолкая. И веяла свежестью в пылающие лица уже совсем не белая ночь... Сколько их было ещё, этих ночей! Казалось, до скончания века хватит их. До белых седин будет коротать здесь вечера Столбов. По-столичному усталый, вечно занятый, витающий в непостижимых высях и сладко тающий в восхищённых глазах скромных землян...

* * *

А заново родившийся товарищ Вентилятор по-прежнему стоял, прислонясь к дереву у соседнего дома напротив окна собственной кухни. Громоздкий силуэт перестал маячить в окне. Но коньячный свет настольной лампы всё не гас. Андрей с горькой страдальческой усмешкой не сводил глаз с окна. Ну что ж, выпей, дружище. И ещё повспоминай. Про шум дождя в палисаднике за окном. Про гвоздик для гитары. Про расставание на платформе. Про...

И вздрогнул. И скривился, не выдержав. Потому что каждое из этих воспоминаний больно кололо и царапало. Ничего... Его там, на кухне, уже давно ничего не царапает, небось. А чуть что — рюмка, и прошло. Ничего, Андрей Евгеньевич. Вали спать, а то завтра не встанешь. Разберусь без тебя. За тебя. Вместо тебя. Не зазя же всё это случилось. Неспроста. Именно для этого. Жить-то осталось сколько? Полторы затяжки? Вот то-то. Можно ведь и не успеть. Так и помрёшь шкурником и размазнёй. Впрочем, нет. Уже нет. Я еду, Столбов, ты слышишь? Я еду туда! Ты столько лет после этого порывался, но так и не решился. А потом обрюзг, заплесневел и счёл за лучшее забыть. А я — еду. Сиди там себе, пей, кури, спи за столом. Будь спокоен, тебе подвигов совершать не придётся. И прощения просить тоже. Эта ночь моя. Я всё сделаю.

И Андрей, резко оторвавшись от дерева, стремительно зашагал со двора. Куда... Куда

ехать? На вокзал? Поездом долго. Сейчас есть ночные скоростные, но всё равно долго. Ночь пройдёт. А что принесёт день — неизвестно. Прокричит на чьём-нибудь балконе петух — и привет. Не станет товарища Вентилятора. Будет один лишь пьяный Столбов. А с него — какой спрос? Нет. В аэропорт. Час лёту — и там. Полчаса до места на такси. Делов-то... Хорошо хоть недалеко это чёртово Шереметьево.

Уже привычными летящими лунными шагами Андрей выскочил на Ленинградский проспект. Как миновал два квартала — и не заметил, не до того было. Всё билось, вспыхивало и искрилось в голове, как он появится в том городе, как пробежит в эту вот свою лунную припрыжку по смутно знакомым улицам, как звякнет калитка, пропуская его туда, в ту далёкую прежнюю жизнь, из которой он так поспешно ушёл — и не вернулся. А Светка? Какая она теперь, Светка? Узнает ли он её? Он и тогдашнее её лицо забыл. Долго помнил, а потом забыл. Маячило перед глазами какое-то яркое расплывчатое пятно, как при сильной близорукости. Оказавшись на огромной улице, он выскочил на проезжую часть и застыл с поднятой рукой, как дядя Стёпа-семафор. Остановился, конечно, не паровоз, а всего лишь потрёпанный «Рено-Логан». Он долго и запальчиво говорил что-то шофёру. Говорил — и не слышал. Сел, захлопнул дверь — и замелькали навстречу фонари. В их холодном, морозном белом свете всё покрывалось инеем. И приборная панель, и руки таксиста на руле, и многодневная щетина на его лице.

— Ты не переживай... — бормотал водитель. — Поспеем. По новой дороге — в аккурат. Полчаса — и там.

Но не слышал его Андрей. Вжался в сиденье — и окаменел. Только сейчас он начал всерьёз осознавать, на что решился. Ещё десять минут назад всё это было лишь дерзким замыслом. Только замыслом, без подробностей и возможных последствий. И вот этот замысел начал осуществляться. Зримо и стремительно. Он не представлял себе, как войдёт в тот далёкий бывший когда-то почти родным дом, кого там встретит, что скажет, что ему ответят. Возвращение блудного сына? Ох, если бы... Сердце трепетало испуганно и зябко. Но обратного пути не было. Просто не могло быть сегодня. Ведь именно для этого, только для

этого возродился из столбовских руин товарищ Вентилятор. Миссия. Вот как это называется. И никак иначе.

* * *

И снова была великолепная ночь. Царственная и нежная. Лёгкими потоками тёплого, струящегося воздуха в открытое окно она словно обнимала за плечи, целовала в шею, ласково заглядывала в глаза. И стояла на пороге комнаты за спиной Василия Васильевича Светка. И глаза её по-прежнему плыли. Но не смеялись. Просили. Звали. Еле заметным кивком она указала ему за окно. Он вскочил и нервно прокашлялся.

— Дядя Вася, мы... пойдём побродим немножко. Ладно?

— Ладно. Возвращайтесь... — понимающе подмигнул хозяин.

А на улице — темень, тишь — и звёзды. Огромные, низкие, предосенние. Два-три тусклых фонаря — и сплошные заросли сорного клёна вдоль раскрошенного асфальта тропинки, бывшей когда-то тротуаром. Шли в поясную обнимку, сцепив свободные руки в крепкий замок. Десять-пятнадцать шагов — остановка. И больно губам. И не хватает воздуха. И кружится, кружится в ошалелых глазах улица, фонари, звёзды... А под руками — жаркие Светкины плечи. И вся она — разнеженная, плавающая и совсем сумасшедшая. Видно, как пульсирует жилка на её белой открытой шее. Как мягко содрогается под тонким платьем грудь. Как блестит в неверном фонарном свете чуть взмокший висок. И шёпот. Взвинченный до звона, обжигающий шёпот в ухо.

— Столбов... Столбов... Что ты наделал... Ты же уедешь завтра... Опять уедешь... А я... Как я...

— Я вернусь. Через неделю... Ты и не заметишь...

— Целая неделя... Столбов, я свихнусь!

— Светка, да ты и так свихнутая. Ты потерпи, я быстро. В субботу... А может, уже и в пятницу... Вечером.

— Ты... Только не забудь. Только обязательно, ладно? Я, кажется, без тебя уже не могу. Веришь?

— Светка, ну... ну нельзя же так... Остынь. А то я возомню о себе чёрт-те что — и у меня крылья вырастут... И объясняй потом всем, что это не горб...

— Тьфу, ну что ты городишь... Какой ты дурак, Столбов...

И уже не надо ничего говорить. Просто невозможно. Только задыхаться и кружиться вместе с улицей, фонарями и звёздами.

Ночь. Тёмная, тёплая, неподвижная августовская ночь. А на самом дне её — Светкина комната, разобранный диван, беспорядочная груда одежды на полу. Свет подъездного фонаря в окно. Скомканная простыня. Бокал вермута в руках. Один на двоих. Переходящий. И губы. Меткие, безошибочные, влажные, горячие, терпкие. Вермут и губы. Губы и вермут. Маета, одна маета...

* * *

А машина летела по широченному и прямому шоссе. Сто двадцать в час — как пешком. Только гораздо мягче. Стакана с водой не расплещешь. Автобан... Вот только темновато. Фонарей мало. Только у мостов-развязок.

— Вот так да... — озадаченно протянул товарищ Вентилятор. — Раньше ж одни пробки были, люди то и дело на самолёты опаздывали...

— А новая дорога, — с лёгкой хвастливостью, будто это он сам её построил, отозвался таксист. — О ней и знают-то пока не все. Говорят, со следующего года платной сделают. Ну, а пока так гоняем. Лафа... У тебя ещё полчаса до самолёта будет, всё успеешь.

— Всего не успеть, — отрешённо проговорил Андрей. Из глубины. Из почти тридцатилетнего далека.

* * *

И был в этом далеке новый субботний вечер. Традиционным вермутом, песнями и прозрениями будущего за хлебосольным столом. К старикам приехал сын с семейством, и они самозабвенно возились с внучкой — дождались...

Застолье в этот раз закончилось рано. И чуть захмелевший Столбов вдруг обнаружил себя в Светкиной светёлке. Девушка сидела на диване,

подвернув под себя ноги, и её белые, круглые, как чайные блюдечки, колени с силой волшебных магнитов неудержимо притягивали взгляд. Молчала Светка. Глядела на него — и улыбалась загадочно. По-хозяйски. Так — сдержанно и довольно — улыбается дрессировщик, глядя на покорно восседающего на тумбе тигра.

Столбов уже тогда оценил эту улыбку, и она ему не очень понравилась. Зато нравилось всё остальное. И мягкий, тягучий, как сгущёнка, кремовый свет торшера. И причудливые тени по стенам и потолку. И шорох дождя по цветам в палисаднике. И еле слышный фортепьянный концерт из-под иглы старой «Серенады». И Светкины колени. И её пристальные, глубокие глаза с искорками. И даже её молчание. Он всё боялся, что она сейчас начнёт ему фотоальбомы показывать: детство, школа, свадьбы подруг... У девчонок бзик на это. Но нет, обошлось. А впереди ещё была целая ночь. Длинная, жаркая и яростная. Она уберёт, погасит всё ненужное. И ночник, и проигрыватель, и нависающий над комнатой тяжеловесный книжный шкаф... И многозначительные улыбки. Всё. Кроме дивана и подъездного фонаря. От одной мысли об этой ночи на миг переворачивалось всё в глазах, проваливалось куда-то сердце и разливалась в груди терпкая, как выпитый вермут, истома. Маета, одна маета... И Светка. Хорошо было с ней. Чудо как хорошо.

— Светланка... — негромко позвал он. Хотя и хорошо было молчать, а всё ж чудно как-то. Неудобно. — А у тебя всё такая музыка? Старинная? Или...

— Ага, — тряхнула она волосами и рассмеялась. — Современную у друзей слушаю. Ну и на дискотеках... Иногда. Но недолго. Мозги вышибает... Андрей, знаешь, я решила... — и задумчиво закусила губу.

— Что? — насторожился Столбов. Сердце испуганно стукнуло.

— Гитару куплю, — чуть усмехнулась девушка, будто услышав этот предательский стук.

— Да? А... зачем? — с явным облегчением спросил он.

— Для тебя. Ты приедешь и сыграешь. Нам же её как раз и не хватает. Поём — и по столу ножами стучим. Или вилками. Глупо же. Как папуасы какие...

— Свет, да зачем? И так хорошо. Да я и не умею...

— А ты не спорь, — отстраняясь, плавно повела она рукой. Лениво так, будто дым отгоняла. Или туман какой-то перед глазами. — И не ври. Я же вижу. Ты всякий раз пальцами перебираешь, как по струнам. И лицо у тебя... Такое. Будто музыку какую-то слышишь...

— Да какая уж там музыка в этих песенках... Выдумщица.

— Нет, — упрямо нагнула она голову, и глаза остро блеснули из-под свесившихся локонов. — Я вижу. Я всё вижу. И если бы ты просто сидел и молчал... С таким вот лицом... Мне бы хватило. Может, и лучше было бы.

— Много болтаем? — через силу улыбнулся он. Она только плечами пожала. И тоже улыбнулась. Кривовато как-то. Одним уголком рта.

— Понимаешь, я всегда мечтала в тишине посидеть... Всем вместе... — и опять глянула на него остро и быстро. И поспешно спряталась за локонами. — И чтобы гитара... Перебором таким: та-та-та-та, та-та... — мелодично пропела она. — Ты же умеешь. Я знаю. Я чувствую... Я хорошую куплю, львовскую. У меня девчонки знакомые в «Культтоварах», придержат. У неё знаешь какой звук? Как у виолончели!

— Светка, да ты же видишь, как я приезжаю-то... Сегодня вот смог, а в другой раз — не знаю... И всё на бегу... Чего ради на гитару-то тратиться? Тем более на такую! Рублей же семьдесят, не меньше! И вот будет она без дела валяться... — проворчал Столбов. Этот разговор, как и недавняя Светкина улыбка, вызвал в нём неясную тревогу.

— А это уже тебя не касается. Я так хочу! — чуть надула она губы. — Я — не тебе. Я — себе. Или... тебе, но для себя, вот. Я уже место выбрала. Она будет висеть... — задумчиво, по-детски положив палец на нижнюю губу, медленно проговорила она, — вот тут!

И, мягко соскочив с дивана, шлёпнула ногами о половику, перебежала к дальней стене, вспорхнула на стул и хлопнула ладошкой по стене рядом с окном.

— Сейчас и гвоздь забьём. Это-то хоть ты умеешь?

Спрыгнула со стула стремительно и метнулась к обивной тумбочке. Повозившись и

погремев, возникла перед ним с молотком и гвоздём. Гвоздь походил на толстого дождевого червя — такой же ржавый и кривой. А молоток был кое-как насажен на рукоять и закреплён не положенным клином, а двумя такими же ржавыми червячками, только маленькими. Они были живописно загнаны между деревом и металлом.

— Да, струмент хоть куда! — хихикнул он. — А ты хозяйственная... Домовитая!

— А... — растерянно протянула она и тут же помрачнела. — Да ну тебя! А то гляди, приду к Василь Васильичу с этим вот молотком и буду им на посиделке по столу стучать! Как тебе? Любо-дорого!

— Ну, ты и с молотком смотришься неслабо... Давай уж... — и, перехватив у неё молоток и гвоздь, встал и шагнул к стенке. — Куда его? Сюда? Затыкай уши. Затыкай, затыкай. А то по пальцу попаду, материться буду.

— Вместе будем, — прыснула Светка, подтащила стул и взгромоздилась на него. — В смысле — забивать будем вместе. Андрей, это же наш первый совместный гвоздь! Давай, я держать буду, а ты бей!

— Ну, нет уж. Так точно без пальцев останемся. Давай-ка...

И тремя-четырьмя не очень ловкими ударами наживил гвоздь. Передал молоток Светке и мягко прихватил её у пояса. Девушка деловито прицелилась и ударила по гвоздю. Ржавый горемыка косо согнулся и обвис. Светка выронила молоток и, совсем как гвоздь, согнулась в хохоте. Столбов подхватил её, спустил со стула и крепко, с затыком, поцеловал в смеющиеся губы. Оторвался, поднял молоток, выровнял гвоздь и заколотил почти по самую шляпку. Потрогал пальцем. Крепко... И вздрогнул, услышав, как сзади скрипнул стул. Обернулся опасно. И молоток выпал из его внезапно ослабевшей руки. Светкин халат валялся на полу. А сама она, молочно-розовая в свете торшера, сидела с ногами на стуле в позе венецовой Алёнушки. Из-под опавших на колени волос не было видно лица: только две смешливые искорки глаз. Ошалев и обезумев, Столбов шагнул к ней, опустился на колени и принялся целовать — везде, куда попадали внезапно пересохшие губы.

— Светка... — сдавленно выговорил он, на миг опомнившись. — Ты... дверь-то заперла?

Она лишь отмахнулась лениво, запустила в волосы обе руки и порывисто, волной, откинула их назад. Потянулась к нему, к его лицу, коснулась щёк.

— Видишь... Как хорошо... Тут будет висеть наша с тобой гитара. На нашем с тобой гвозде. А однажды ты... Может быть... Приедешь... И останешься, — прошептала она, задыхаясь от его касаний и поцелуев.

Столбов вдруг словно запнулся, проглотил лёгкий горловой спазм, отлип от Светкиных прелестей, встал с колен и, обернувшись к стене, ещё раз попробовал гвоздь на прочность, так, как будто висеть на нём предстояло не гитаре, а ему самому. «Может быть... — понеслись в голове только что сказанные слова. — Может быть... Что ж, и на том спасибо, милая...»

— «Может быть, может быть...» — теперь в голос дурашливо пропел он строчки из старой песенки и, повернувшись, лихо подмигнул всё ещё млеющей Светке: — Положение безвыходное, Светланка. Ничего не поделаешь, придётся учиться на гитаре играть. Э-эх, пропадай! — и, хищно гикнув, подхватил её со стула, крутнулся два раза по тесной комнате и налетел-таки задом на стол с проигрывателем.

Фортепианный концерт был хамски прерван взвизгом сорвавшейся иглы. А через пару минут один голышок, на диване, дёрнул другого, маленького, на шнурке торшера, и наступила долгожданная ночь. Она не обманула их. В её темноте и самозабвении не оставалось места для ненужных слов и сложных раздумий. Но и в этой многобальной штормовой качке Столбов нет-нет да и взглядывал на стену, где тёмным пятнышком торчал свежевбитый гвоздь. Взглядывал — и тайком сжимал саднящие от поцелуев губы...

А в коротком — часа на полтора — сне он увидел себя рыбой. Хитрой костлявой рыбой с задирями от сетей на боках. Чьи-то ласковые руки гладили его по шершавой, как наждак, чешуе. Заманивали на мелководье сладенькими нежными червячками. Распускали мутные облака расслабляющего дурмана. Но он был ловок и умён. Особым — рыбьим — боковым зре-

нием он видел, как вокруг него стягивается тонкая, как паутина, почти прозрачная мелкоячеистая сеть. И в самый последний момент рывком уходил на глубину.

А потом была долгая дорога домой. Мерно и надоедливо стучали вагонные колёса. Мыслимо-немыслимо, мыслимо-немыслимо... Ещё тянуло губы от прощального поцелуя. Ещё звенело в ушах, отдаваясь эхом по всей голове, спетое на платформе в три голоса: «А всё кончается, кончается, кончается...» Ещё бродила по губам невольная, незваная улыбка, с которой никак нельзя было ничего поделаться. Но где-то на самых задворках сознания всё настойчивее билось: тайм-аут. Надо взять тайм-аут. Так нельзя. Слишком быстро всё. Слишком. Так не пойдёт... Он переждёт немного. Ну, пару недель. Ну, месяц. И приедет. Обязательно приедет. Но сердце уже сдавило ощущением безвозвратной потери. Он понимал, что врёт себе. И сейчас не просто уезжает, а бежит. Мыслимо-немыслимо. Мыслимо-немыслимо...

Мыслимо, Столбов. Мыслимо. И даже очень просто. Ну, не сошёл же свет клином на том славном городке. Он просто занят. Он не смог приехать. А дружбы он не предавал. Они ещё пошатаются. Они ещё попоют... Целый месяц уверял себя в этом Столбов. Ходил по друзьям. Пил вино. Мурлыкал песенки. Провожал захмелевших девчонок и подолгу тискался с ними в подъездах. И не только в подъездах. Был он будто весь захвачен какими-то колоссальными раздумьями, а к окружающим устало снисходителен. Совсем как в песне: «Душою — там, а телом — тут». Мол, всё это здорово, но не настоящее. Не моё. Но в далёком тайном далеке меня всегда помнят и ждут. Я скоро. Совсем скоро...

Но каждую пятницу неизменно оказывался в прежней компании. Приходил туда задолго до назначенного часа. Лишь бы не остаться наедине с собой. Лишь бы ноги сами не понесли на вокзал или в аэропорт. Тогда уже не удержаться... Приходил, долго делал на лестнице романтически-скучающую гримасу и с ней, как с транспарантом, ступал на порог.

Трудный был месяц. Болезненный. Но од-

нажды, проснувшись утром в чужой квартире среди оклеенных газетами стен, Столбов понял, что выздоравливает. Притупилась боль. Он теперь сможет. Без Светки. Без песен, шатаний и прозрений будущего сквозь призму вермута. Было — и прошло. Перешагнулось. Нет, он когда-нибудь обязательно придет. Но не сейчас. Попозже...

* * *

Аэропорт неожиданно надвинулся, навалился светящейся громадой этажей и огромных окон. Шеф приткнул машину в какой-то карман у дороги.

— Извини, дальше не могу. Порядки там сволочные, своя мафия, могут и стёкла побить. Тут метров двести тротуарчиком, пять минут ходу... налегке же, ничего.

— Ничего, — пожал плечами товарищ Вентилятор, расплатился и вышел.

Помахал рукой в ответ на пожелание мягкой посадки. И не без злорадства представил, как бы трясся над этими двумя бумажками Столбов. Как возмущался бы, что его за эти деньги не довезли до самых дверей, а то и до трапа самолёта. Впрочем, нет. Не возмущался бы. Потому что никогда в жизни не решился бы на такой вояж.

Уже шагая тротуаром, Андрей ощутил вдруг, как свеж, лёгок и чуть колюч прохладный ночной сентябрьский воздух. Как океанской волной влывает он в лёгкие, расправляет грудь — и будто подхватывает, поднимает и несёт в небо, в тёмную, простёганную рёвом самолётов высь. И песня. Сама собой пришла тогдашняя, розенбаумовская:

*Пусть осень не кончается,
И пусть земля отчается
Примерить платье белое...*

Эх, жаль, не успели спеть её с Василием Васильевичем! Тогда она только ещё появилась. Столбов потом, в тяжкие минуты за одинокой рюмкой, пел её один. Мысленно. Еле слышно выстаннывая мотив. Как Василий Васильевич в первый день знакомства. Глаза были мокры, и всё вокруг кружилось и кривлялось. Но он пел. Пил — и пел.

И сейчас он пел. Вполголоса. Вокруг было шумно, и никто не мог его услышать. А и слышали бы — ну и что? Шагал, улыбался блаженно, дышал ветерком осени — и пел. Всё вдруг заровнялось, забылось, отпустило. Что там, впереди? А будь что будет. Всё равно ничего не миновать.

А ещё — он вспомнил. Лицо Светкино вспомнил. Крупное, чуть угловатое, лобастое. Вечно озадаченное, чуть растерянное. Это губы у неё такие. Верхняя приподнята, будто домиком, а к ней нижняя еле заметно тянется. И нос у неё смешной. Чухонский. Туфелькой. Обыкновенное лицо. Три-четыре невзрачных мазка. Но он не видел в жизни ничего милее и теплее. Теперь он узнает её. Такие с годами не меняются.

На его рейс уже шла регистрация. У билетной стойки он заученно назвал свой рейс и попросил место в эконом-классе. Надо же, вспомнил, как это называется. Услышал где-то. Когда он ещё летал самолётами, таких названий не знали. Зашпаклёванная пудрой дистрофичная девочка-кассирша затрещала клавиатурой.

— Паспорт, — протянула руку она, когда Андрей уже настроился на ответ «мест нет».

— Обратный будете брать?

— А? Обратный? Нет. Обратно — поездом...

«Вот и решилось. Всё решилось. Насовсем решилось...» — колотилось в висках, когда он шагал к стойке регистрации. Впрочем, нет. Ещё не поздно сдать билет. Или просто сбегать. Как раз в нескольких шагах от него распахнулась автоматическая дверь, впуская нескольких пассажиров и показав на миг подсвеченную прожекторами темноту. Товарищ Вентилятор приостановился и оглядел зал. Было немногочленно. Совсем не так, как четверть века назад. Тогда тут день и ночь стояла круговая нескончаемая толчея. Прямо вот тут стояли скамьи, и на них сидели, лежали вповалку, стояли вокруг среди чемоданов и сумок. Летали много и часто. А теперь — пустой, основательно перепланированный зал, безжизненный какой-то, как показная декорация. Вот окна только те же самые. И глядит в них прямо на него загадочная сентябрьская ночь.

*Пусть осень не кончается,
Нам счастье повстречается...*

И опять нахлынуло, подняло, закружило под самым потолком, у светильников, как под куполом цирка. И вращался под ним огромный зал с пассажирами, чемоданами, киосками. Вращался — и сиял радужным многоцветьем, как огромная цветочная клумба. Но надо было приземлиться. Впереди регистрация и контроль. Взять себя в клещи. Расслабимся в самолёте. Если попадём. А то учуют «привкус вермута» — и всё. Прощай, полёт. Интересно, огорчит его это или нет? Вряд ли сильно огорчит, но досадно будет. Рядился-рядился, и вот тебе...

Но всё обошлось. Позабавило только, когда пришлось снять ботинки и положить в дурацкую пластмассовую ванночку. Но он лишь сдержанно хихикнул. Чуть оробел в рентгеновской кабинке. А ну как просветят его — и ничего не увидят? Ведь никакого товарища Вентилятора существовать в природе не должно. Погиб товарищ Вентилятор. Безвестно и бесславно. Его могила, Андрей Евгеньевич Столбов, сейчас мирно дремлет за бутылкой у себя на кухне... Но напрасно волновался. Недаром, видать, поговаривают, что все эти новомодные досмотры — сплошная бутафория и показуха.

Автобус подкатил к трапу оглушительно свистящего «Боинга-737», остановился, и из его дверей горохом посыпались пассажиры. Товарищ Вентилятор пропустил всех и, пока стояла очередь на трап, наслаждённо озирался. Вокруг стояла синяя сентябрьская шереметьевская ночь с грохотом турбин, прожекторами, огнями самолётов над головой и звёздами. Чуть кружилась голова. Ему снова было легко и хотелось петь. Но он лишь бормотал шёпотом что-то бессвязное и невнятное, запрокинув голову и глядя в небо из-под полуопущенных век.

— Мужчина, поспешите! Отправляемся! — окликнула его бортпроводница с вершины трапа.

Трап был уже пуст. Андрей встрепенулся и пропустил по ступенькам.

— Вы что же, молитвы читали? — с ухмылкой лёгкого высокомерия обратилась к нему

бортпроводница, когда он уже занёс ногу, чтобы ступить в самолёт.

На лице девушки был какой-то странный, с оливковым оттенком загар. Инопланетный.

— Право, не стоит. По статистике, из ста тысяч рейсов... — заученно затараторила она.

— Разбивается только один? Так? — перебил он её залиvistую трель.

— Да... Но... — принялась давиться словами озадаченная проводница.

— Но в мелкие дребезги, — договорил он за неё, учтиво улыбнулся и прошёл в салон.

Место «17-а» было у самого иллюминатора. С видом на крыло. Он любил такие места. Многие не любили — сильнее укачивало, а кое-кому было и попросту страшно. А он любил. Ещё с детства, когда с родителями на юг летал. По положению крыла легко угадывались манёвры самолёта и казалось, будто сам участвуешь в пилотировании.

Он сел в кресло, откинул голову и закрыл глаза. Всё. Рубикон перейдён окончательно и бесповоротно. Мосты сожжены. Час полёта. Потом какой-нибудь час езды — и он там. Страшно? Страшно. Что ты делаешь, Столбов? Зачем? Всё давно уже поздно и бессмысленно. Кого ты там встретишь? Кому скажешь своё запоздалое и ненужное «прости»? Но сами собой упрямо сжимались губы и, как от назойливой мухи, встряхивалась голова.

Нет. Бессмысленной была вся его жизнь последние четверть века. Ему дан невиданный, невозможный, фантастический шанс хоть немного всё поправить. А сказать «прости», на самый худой конец, можно и самому себе. Именно в этом, по большому счёту, и дело. Да в том беда, что есть вещи, которые даже себе простить нельзя. Предательство, например. Или трусость. Или подлость... Вот что страшно-то. Уж как страшно...

В салоне потихоньку смолкли гомон и шарканье неуклюжих шагов, двиганье сумок, шелест одежды и гулкие щелчки крышек багажных полок. Пассажиры расселись по местам, и лишь бормочущий гул десятков голосов сонно колыхался в ушах. Самолёт уходил полупустым: ещё в автобусе Андрей насчитал около шестидесяти человек. Бортпроводница включила микрофон и, размахивая руками, как за-

водная кукла, затарахтела тупой, как кирпич, текст предполётного инструктажа. Вслед за ней, как старый Мазай в сарае, разговорился в кабине командир экипажа. Говорил быстро и невнятно. Удалось расслышать только про высоту и скорость полёта. Сразу после этого самолёт плавно тронулся и покатился. Пять минут руления показались целым часом. Медленно, со скоростью городского автобуса, колесил лайнер по рулёжным дорожкам, то и дело вздрагивая и сотрясаясь. Наконец замедлил ход, замер, гулко взревел и рванулся с места. Прожектора за иллюминатором слились в одну мелькающую ленту. Мягкая, но непреодолимая сила вдавила Андрея в кресло. И на кой чёрт, скажите, пристёгиваться ремнём, если и без него даже головы от спинки не оторвать? Впрочем, один из ста тысяч взлётов может оказаться неудачным. Но спасёт ли этот жалкий поясок? Разве что дребезги будут не такими мелкими...

И отлетела земля. Миг — и её огни, дома, улицы стали похожими на густо разбросанную внизу новогоднюю иллюминацию из лампочных гирлянд и неоновых трубок. А через пару секунд исчезло и это. Только чёрная тьма с лёгким подмигиванием разбросанных тут и там звёзд. Лихо загнутая оконечность крыла самолёта несколько раз показалась в иллюминаторе. С лёгким потрескиванием заложило уши. Самолёт, задирая нос, упрямо буравил высоту. В салоне стояла напряжённая тишина. Но вскоре полёт выровнялся, рёв двигателей перешёл в мягкое с присвистом гудение и заметно полегчало. Андрей перевёл дух. Надо же, отвык летать. Начисто отвык. И, расстегнув давящий ремень, расслабленно откинулся на спинку кресла. Можно и вздремнуть... Но нет. Не выйдет... Теперь не выйдет.

* * *

Предательство. Предательство? Да, именно так это называлось. Об этом очень хотел навсегда забыть Столбов. И полагал, что забыл. Уверил себя, что это было не с ним. И всячески старался поменьше вспоминать и о том городе, и о Василии Васильевиче, и о Светке... Именно поменьше, до известного момента.

Известный момент произошёл лишь несколько лет спустя, уже в новой жизни, и, проявив своеобразную изворотливость, можно было убедить себя, что всё прежнее было вроде бы и не с ним. А что? Вся жизнь, считай, кувырком перевернулась. Всё другое. Вот и он повёл себя по новым правилам. Жаль, конечно, тех славных вечеров, да чего за них держаться, одни воспоминания... А на воспоминаниях далеко не уедешь. Он это давно понял, когда всё кончилось — и прежние порядки, и работа, и положение. Когда работал, считай, за пачку перемороженных пельменей из паршивого хлеба и какой-то собачатины. Когда подъедался сторожем на автостоянке... Когда... Да что уж там. Он всё хорошо понял. А кто не понял — тому же хуже.

Был промозглый, хлюпающий, едва подсвеченный тусклыми кривыми фонарями осенний вечер с густой взвесью мелкого дождя. В лениво бликующих под ветром лужах догнивала коричневая каша опавшей листвы. Улицы давно уже никто не подметал. Дворники на окраинах Москвы, казалось, повымерли, как мамонты. Отдежуривший смену на стоянке Столбов мрачно блаженствовал на кухне за кружкой крепкого чая. К чаю был ликёр. По дешёвке достался, ворованный. В плоской бутылке неаппетитного сине-зелёного цвета. Китайский. «Фейхуа» — было криво написано на наклейке поверх иероглифов. Пить эту терпко-приторную амброзию рюмками было страшновато, но с чаем — вполне. Особенно в такую собачью погоду за окном.

И вдруг — звонок в дверь. Дверной глазок у Столбова был плохонький, подслеповатый, мутный. Перед дверью стояло что-то тёмное. «Вот так раз... — пронеслось в голове, и лёгкая тошнота подступила к горлу. — И до меня, выходит, добрались... Да что с меня взять-то — хрен да кеды...»

Тёмный кряж за дверью нетерпеливо шевельнулся, и снова грянул звонок. Требовательный. Двойной. Дрогнули руки. Дверь-то паршивая, укрепляли полгода назад штырями, да толку... Вдарили кувалдой посильнее — она и вылетит... Метнулся к шкафчику под вешалкой, нащупал топор, крепко сжал его непослушными руками и шагнул к двери.

— Кто? Чего надо? — голос на последних словах предательски сквозил.

— Столбов! Спишь там, что ли? — ядовито прошипели из-за двери странно знакомым голосом. — Открывай!

— Кто такой? — уже увереннее и твёрже спросил Столбов.

— Тыфу, дурак... Совсем одичал, своих не узнаёшь... Полуянов я. Толя. Помнишь?

— Толю Полуянова помню. А тебя не узнаю. Морду покажи! — не сдавался Столбов, хотя понимал уже, что бояться нечего.

— Тыфу! — опять плюнул гость и невнятно зашипел что-то матерное. Через секунду в глазок глянуло знакомое лицо. — Доволен?

Да, это был он, Толик Полуянов, или Полупянов, как в шутку называли его в техотделе завода сослуживцы. Минувшие годы мало изменили его лицо, Столбов узнал его даже в свой поганный дверной глазок. Узнал, швырнул топор в угол и открыл дверь. Руки, правда, всё ещё легонько подрагивали.

— Вот чёрт чудной, бдительность развёл, прям как на зоне... — проворчал Полуянов, по-хозяйски вваливаясь в квартиру.

Был он по-прежнему худ, долговяз и, вдобавок, экстравагантно одет: в длинном синем мокром плаще, чёрной шляпе и тёмных дымчатых очках. Вылитый гражданин Гадюкин из старой детской книжки.

— Заходи-заходи! Чучело! Надо ж, как вырядился! — захихикал Столбов. — На улице-то не шарахаются от тебя?

— А на улице, Женич, теперь от всех шарахаются, не замечал? Потому что рожи через одного такие — «не подходи: убью». А? Не так, скажешь? Нет, а ты молодцом. Молодцом. Топорик... — он покосился в угол. — Ну, приглашай, что ли, чего на пороге-то...

Не дожидаясь позволения хозяина, гость водрузил на вешалку плащ, снял шляпу, и перед Столбовым предстал почти прежний Толик Полуянов. Только вот рожа чуть обрызгла и очки скрывали глаза. И на макушке в свете лампочки сияла обширная веснушчатая плешь в окружении рыже-русых с едва заметной проседью волос. Постарел Полуянов. Даже худоба его стала какой-то неуклюжей из-за выпяченного над ремнём убогого животика, похожего

на сохлую грушу. Сковырнув туфли, гость прошёл на кухню, оставляя на полу мокрые следы. Пахло дождём, сыростью и затхлой табачной гарью. На кухне он по-хозяйски уселся на столбовском стуле, закурил вонючий «Пегас» и, как заправский иллюзионист, выудил из внутреннего кармана пиджака бутылку — такую же плоскую, как стояла на столе, но с прозрачным содержимым.

— Он, — торжественно изрёк гость. — Медицинский. Чистяк. Девяносто шесть. Проверено. Гони рюмки. О, а это что у тебя? Хм... «Фейхуа». Сиропчик? Двадцать пять градусов? Отлично. Сойдёт для проводничка...

— Толик, а у меня с закуской-то швах... — удручённо развёл руками Столбов.

— Не дрейфь. В плаще у меня, в кармане... Свёрток... Принеси, а? Вставить лень, запыхался. А я пока налью...

В свёртке оказались два увесистых бутерброда. Каждый из них состоял из двух кусков белого хлеба, между которыми было масло и тонкие ломтики сыра и колбасы. Полуянов взял нож и разрезал бутерброды на маленькие ровные кусочки.

Столбов улыбнулся:

— Стратегическая закуска?

— Ага. Наша, технарская. Помнишь, значит, не забыл... Это хорошо. Ну, со свиданьем, что ли...

Полуянов тяпнул полрюмки чистяка и запил его из другой рюмки ликёром. Скромно закусил. Столбов не стал рисковать и запил водой. Отдышались. Расслабились, закурили, и потёк неторопливый разговор. Говорил в основном Полуянов. Кооператив, куда он демонстративно ушёл в конце восьмидесятых, развалился вместе с заводом: не на чем стало паразитировать. Толик вовремя соскочил и нырнул. Глубоко и надолго, опасаясь бандитской расправы. Недавно вынырнул, освежил старые связи, и теперь кое-что наклюнулось. Эти слова он произнёс загадочно и таинственно, покачивая рюмку со спиртом и проглядывая её на свет, как магический кристалл.

— Ну, а я... — пожал плечами Столбов, полагая, что пришло время рассказать о себе, и видно было, как ему этого не хочется.

— Да знаю я про тебя всё. И вижу. Катаешься

как сыр в масле на помойке. И далась тебе эта автостоянка... — сморщился Полуянов и выпил. Запил, выдохнул. Закусывать не стал.

— Хм... — в свою очередь скривился Столбов, ожидая высокомерных поучений про деньги, которые валяются на земле, только не ленись нагнуться. — Ты что-то предлагаешь?

— Вот-вот. За тем и пришёл. Предлагаю тебе заработать. Не подкальмить, не подшибить, а именно заработать. Хорошие деньги. Мне как раз нужен помощник. Не жлоб, не трепло, проверенный свой человек. Стоянка твоя никуда не денется. Даже увольняться не надо пока. А работа по специальности. Ты всё по городам ездил, монтировал. А теперь демонтировать будешь. Как тебе?

— Н-не понял... — уже чуть пьяно отозвался Столбов.

— Очень просто. Сколько по России заводов и фабрик, а? Правильно. До хрена и больше. Почти все они стоят. И оборудование стоит, пылится и ржавеет. Здесь на нём уже никто и никогда не будет работать. А на востоке, Андрюха, есть большая страна. Поднебесная империя. Там готовы за этот лом платить валютой. Ты понял? Нет-нет, всё законно. Никакого воровства. Документы в порядке. Всем, кому надо, уплачено. Мелкие эксцессы, конечно, возможны, но маловероятны. Фрахтуются две-три фуры. Кран. Пара микроавтобусов. И вперёд. Я — командор пробега. Ты — технический специалист. Остальные — работяги. Гайки крутить, грузить-возить. Два-три дня — вся экспедиция.

— Погоди... — поднял вялую руку Столбов. Спирт расслабил, но соображать пока не мешал. — Ты ж говоришь — лом. А на кой тогда какие-то специалисты? В переплавку же пойдёт. Откручивай да грузи, ума не надо...

— Надо, Андрюха. Надо... — горько покачал головой Полуянов. Уже не Полупьянов, а вполне себе Пьянов, но по-прежнему Гадюкин. — Отправляться будет как лом. А использоваться по назначению. И надо не разломать, а бережно демонтировать. Дефектовать. Комплектовать по возможности. В этом всё и дело. И деньги, Женич. Немалые деньги.

Столбов вздохнул. Противилось что-то в душе. Поперёк вставало. Но нынешняя прокля-

тая жизнь осточертела ему до рвоты. А это была лазейка. Зацепка. Шанс вырваться. Это было ясно сразу и без слов. А сомнения надо было ещё обдумывать и формулировать. При том, что Полуянов наверняка от них отмахнётся.

— Так что решай, Андрюха. Случай редкий даже для меня. А таких, как мы с тобой, по стране миллионы. Сам знаешь. И тянуть нельзя. Пока никто не опомнился и лапу на это дело не наложил. Нет, не думай. Точно так же вывезут и продадут. Только мы с хреном останемся. Ну? Согласен?

И началась у Столбова новая жизнь. Чем-то похожая на полузабытую прежнюю. На колёсах. В разъездах по городам и весям ближайших к Москве областей. Но теперь была крошечная, почти круглосуточная работа в пропылённых, грязных, заброшенных, протекающих на осеннем дожде цехах, после которой он отсыпался в кресле микроавтобуса и додрёмывал на своей автостоянке, которая виделась сейчас почти желанным отдыхом. Болели глаза от чертежей, схем и спецификаций, которые зачастую надо было составлять с нуля, начисто перепечатывать и отдавать для перевода на английский. Переводчики на китайский были ещё невиданной редкостью. Уставал страшно. Так, что не оставалось сил на ненужные раздумья, которые так и лезли в голову. Картина всероссийского разорения была чудовищной. Целые производственные линии пылились, ржавели, гнили в заброшенных цехах мёртвых заводов. Станки с ЧПУ, о которых с таким упоением говорили и писали ещё пять-шесть лет назад, — фрезерные, токарные, шлифовальные — зияли вскрытыми и разворованными электронными потрохами. Чтобы смотреть на это спокойно, надо было напрочь забыть о своей специальности. Забыть не получалось: работа требовала квалификации. Даже деньги, которых теперь Столбову хватало на всё, о чём он раньше и подумать не мог, не очень-то примирили с происходящим.

Мучили сны. Часто в этих снах он видел своё детство, солнечные семидесятые годы, мирный, милый, спокойный мир, где всё было понятно и безоблачно. Его окружали добрые, любящие люди, и он понимал, что в этом мире не

может быть ничего плохого, страшного и подлого. Но вдруг всё стремительно менялось, и он оставался один среди чужой холодной пустоты. Нет, не совсем пустоты. Всё было тем же, на ощупь знакомым. Но словно искусственным, неживым. Вокруг мелькали, появлялись и растворялись какие-то лица и фигуры, но были они бледны и серы, как тени в пасмурный день, плыли мимо и сквозь него, так, будто его, Столбова, и вовсе не было на свете. Он бродил по улицам, заходил в дома в надежде встретить, найти хоть кого-то родного, живого, знакомого. Но видел лишь всё ту же пустоту, молчание и холод. И тяжкое, мучительное чувство вины терзало его. Будто это он сам опустошил и выхолил мир вокруг себя. Как озорной мальчишка шутки ради убежал в людном месте от родителей — и потерялся навсегда. Просыпался, вставал — и весь день это скорбное чувство пустоты и вины висело над ним, заставляя надолго отключаться от всего окружающего и глубоко задумываться. Зачем, для чего он жил столько лет до этого? К чему были все надежды и яркие планы на многообещающую будущую жизнь, когда всё, казалось, было ещё впереди? А вот прошло совсем немного лет, он по-прежнему молод, а у него всё позади, как у древнего старика. Одни воспоминания... Тут и начало у Столбова ошутимо поднывать сердце.

Момент истины, положивший конец этому куску жизни Столбова, явился через несколько месяцев, весной. Они выехали на очередной «объект». Так теперь называл брошенные фабрики Толик Полуянов. Он отъелся, посолиднел, но так и остался всё тем же гражданином Гадюкиным. Ехали долго, целую ночь, и Толик, сидя рядом с мрачным и сонным Столбовым, без умолку болтал, неприятно шелестя плащом и то и дело прихлёбывая коньяк из никелированной фляжки. Столбов то задрёмывал, то просыпался под его рассыпной трёп, и в моменты пробуждения ему более всего хотелось схватить этого неугомонного живчика за горло и придушить. Не насовсем — чёрт с ним, пусть живёт! — а просто чтоб замолк хоть ненадолго. На рассвете их микроавтобус вкатился в какие-то большие ворота, за которыми краснело благородным кирпичом старое фабричное здание. Столбов спал на ходу. Они долго

шли какими-то коридорами, галереями, лестницами и оказались наконец в просторном, заставленном механизмами помещении. Полуянов-Гадюкин змейкой мелькал по цеху, шлёпал по лужам на полу, матерился и давал указания. Столбов ходил следом, то и дело озираясь, скрёб в затылке, тёр ноющие виски и пребывал в непонятном умственном ступоре. Ему показалось, что он уже был тут раньше. Это было бы неудивительно. Все эти цеха похожи друг на друга, мало ли. Да и просто ложная память обманывает, бывает же... Но тут его сонно-воспалённый взгляд налетел на воздуховоды вентиляции под потолком, и Андрей Евгеньевич едва не сел на пол.

— Чего ты? — обернулся на его невнятное бормотание Полуянов.

— Толик... — судорожно сглотнув, выдавил Столбов. — Где мы?

— Хм, вот чёрт, всю дорогу продрых... Под Питером мы, Женич, — ехидно и сочувственно, как пьяному, ответил ему Толик и назвал город. Столбов опять пошатнулся.

— Да что с тобой, температуришь, что ли? — вытаращился Полуянов и потрогал ему лоб.

— Толик, эту вентиляцию... Видишь? Это я... Я её монтировал. Ещё в командировку ездил, ошибка в проекте была... Я же... — слова еле вытаскивались. Они были ни к чему, их всё равно бы никто не понял.

— Да? Какой пассаж... Ну вот, сам монтировал, а теперь профессионально разберёшь. Быстрее управимся. Глядишь, вечером ещё и по Питеру побродим, в кабак какой-нибудь завалимся, а, Женич? В Питере такие девки — ого-го! Давай-давай, не кисни! — и Толик весело подмигнул Столбову пьяным змеиным глазом.

А перед глазами Столбова стоял туман. И в груди тяжелела, не желая таять, огромная ледяная глыба. Вот он, вот он здесь, это из того вон вентиляционного короба его вытаскивали за ноги... Стоит лишь выйти за ворота, пройти мостком через ручей — и вот оно, прошлое, из которого он когда-то трусливо сбежал. Никто его не остановит. Никто не побегит вслед. Всего-то и надо сделать несколько решительных шагов. Но Столбов знал, что никуда он не пойдёт. Он останется здесь, закончит начатое дело и уедет. Он не сможет, никогда больше не

сможет прийти в этот дом. Не сможет взглянуть в глаза этим людям. Потому что был в этом доме добрым и честным другом, а теперь — вор и враг. Все эти годы он вопреки всему, обманывая себя, надеялся вернуться. Теперь же шаткая калитка в собственную юность захлопнулась перед ним навсегда, и от этого короткого хлопка было холодно и больно.

Он бродил, как лунатик, по цеху, давал какие-то указания, что-то записывал в толстый ежедневник. Кипела работа. Внизу снимались с фундаментов станки, сверху на талых опускались трубы и коробка вентиляции. То и дело в цех въезжал тарактящий и гремящий автопогрузчик и вывозил, вывозил, вывозил... Уже вечерело, когда Столбов, словно очнувшись, нашёл себя сидящим в кабине микроавтобуса рядом с водителем. Третьим, у правой двери, втиснулся Толик.

— Ну, не умер, — шутливо толкнул он Столбова локтем, — навозну кучу разгребая?.. Поехали!

Машина плавно тронулась к воротам. За ней, взрѣвая и дымя, потянулись три фуры и кран. И вдруг у самых ворот наперерез микроавтобусу выскочил кряжистый мужик в телогрейке и кепке. Загородил выезд, замахал руками над головой. Столбов дёрнулся. Ему захотелось бесследно провалиться сквозь землю. Это был Василий Васильевич. Он ничуть не изменился. Только на лице проглядывала седая небритость и чуть обвис и пуше прежнего посизел массивный медвежий нос.

— Стой! Стой, сволочь! — хрипло прокричал он, едва не бросаясь на лобовое стекло.

— Чего надо? — высунулся сбоку Полуянов. — С дороги! Ну! Пошёл! А ты чего спишь? — окрысился он на шофѐра. — Газу!

— Так собьѐм же... Мне ж отвечать...

— Заворачивай! Выгружай! Грабители! Крысятники, вашу мать! — выкрикивал, сжимая кулаки, Василий Васильевич. — Не выпущу! Дави — не выпущу!

— Откуда он? Толик, ты ж говорил — всё схвачено, все предупреждены... — раздался из салона голос бригадира монтажников.

Гражданин Гадюкин ядовито зашипел и выскочил из машины.

— А ну! Бегом отсюда, пока не отмудохали! Быстро! — рывкнул он так, что Столбову показа-

лось, будто дрогнули стѐкла в микроавтобусе.

Сам же Столбов горел заживо. Он понимал, что если сейчас будет драка, то ему придётся вмешаться. Он не сможет не вмешаться, потому что иначе...

— Ах ты, сука! — попѐр на него Василий Васильевич, уходя с дороги машины. — Я тебя сейчас вот этими руками задавлю, гнида! Не бойсь, силѐнки хватит! Ты у меня...

И тут раздался резкий короткий пых. Василий Васильевич взревел и схватился за лицо. Полуянов шагнул к нему, собираясь ударить.

Столбов, выругавшись, выскочил, сгрѐб Толика за воротник плаща, развернул и затолкнул в машину. Сел тут же, придавив его, и бешено рывкнул:

— Поехали!

Вереница машин, газа и дымя, потянулась из ворот фабрики. А её единственный защитник всё пытался протереть глаза. Он слепо тыкался из стороны в сторону, потрясал руками, выкрикивал, захлѣбываясь, бессвязные слова, а фуры тянулись мимо, обдавая старика густым дизельным выхлопом.

— Чем ты его, Толик? — спросил шофѐр.

— Да перечным газом! Ничего, оклемаются... Женич, да слезь ты с меня, мать твою! Ты-то чего? Я б его ещё поучил! Народный мститель...

Столбов молчал. Рвотное омерзение переполняло его так, что страшно было даже открыть рот. Он ведь выскочил только потому, что ослеплѐнный Василий Васильевич не мог его увидеть и узнать. Случай помог. Вернее, газовый баллончик...

— Останови... — попросил он шофѐра где-то на окраине города.

— Ты чего? — вытаращился на него Полуянов.

— Всё, Толик. С меня хватит. Бывай! — выскочил, захлопнул дверь и, свернув в первый попавшийся переулок, зашагал прочь.

Самолѐтом улететь не удалось. Денег хватило лишь на место в общем вагоне ночного поезда. Пустая голова мучительно гудела от духоты. А в груди по-прежнему мѐртво холодила ледяная глыба. Но теперь она спасала и не давала сойти с ума. Так закончилась ещё одна жизнь Столбова.

* * *

Давило в груди. Казалось, не хватает воздуха и надо вздохнуть поглубже... Да вот не помогает. Это сердце. Сердце, Столбов. Рубцы на нём от каждой из твоих непутёвых жизней. И как ты до сих пор жив? Даже странно. Не для этого ли полёта?

Он нахлопал в кармане куртки пластмассовый патрончик, вытряхнул маленькую, как зёрнышко, нитроглицеринку, швырнул под язык и откинулся в кресле, ожидая, когда вскипит и запульсирует в голове.

А нынешнюю свою жизнь он никогда не вспоминал. Чего её вспоминать-то: вот она вся, как на ладони. Любуйся, если захочешь. Хоть и была она самой длинной из всех столбовских жизней. Двадцать лет как-никак.

Ирину, свою будущую жену, он встретил однажды на вечеринке у друзей. Его пригласили случайно, он и дорогу-то туда почти забыл. Компания, правда, здорово поредела. Ушли самые интересные и незаурядные люди. Ушли, не прощаясь, — просто отпали и затерялись где-то. Где-то рядом. Как и он все эти годы. Жили здесь же, ходили теми же улицами, но никогда не встречались. Оставшиеся заметно посolidнели, обросли деньгами и связями, в голосах появилась довольная жирноватая самоуверенность, вальяжность и вместе с тем странная боязливость сказать лишнее, непринятое, чересчур откровенное. Дорожили положением. Опасались проиграть даже в глазах друзей.

Столбову здесь обрадовались. Старательно кричали «ура!», обнимали, трясли за обе руки. Но глядели с оценивающей опаской: откуда всплыл, где пропал, чего достиг, не обскакал ли невзначай?

Столбов к тому времени был совершенно свободен и неплохо обеспечен: приоделся, обставил квартиру, даже машину купил — трёхлетний «Фольксваген-Пассат». Прав оказался Полуянов-Гадюкин: заработал он с его помощью неплохо. Но стоило подумать и о будущем: любые деньги однажды кончаются, а возвращаться на стоянку как-то уж совсем не хотелось. Нужна была какая-нибудь непыльная работёнка, и Столбов в этом смысле наде-

ялся на старых приятелей. Потому и вернулся в эту совершенно неинтересную компанию. Вынужденно. Тихонько поскрипывая зубами.

Убедившись в его полной безвредности, друзья радостно приняли его, встречали каждый раз излишне громким «ура!», демонстрировали чересчур явное покровительство и даже свели с интересной женщиной. Так, вроде бы невзначай.

А Ирина была в самом деле интересной. Старше его на пару лет, умная, немногословная, с лёгким ленивым туманцем в глазах, с медленными, мягкими и плавными, будто ласкающими, движениями, как естественным румянцем на пухловатых щеках. Год назад она потеряла мужа. Случилось это горе вполне обыкновенно для тогдашних времён: поймал удачу, пошли деньги, стал крепко выпивать. Разбился пьяный на машине. Ирина перенесла беду стойко. Только вот морщинок в углах глаз прибавилось. Ирочкина улыбка была очень милой, открытой, юной. Но вот морщинки так и лучились от глаз к вискам... Это было особенной её изюминкой, как-то неясно взволновавшей Столбова. Да, не девчонка. Но что ему девчонки? Случались они порой в жизни Столбова, но в последнее время как-то не зажигали. Перегорел он к ним. А тут совсем другое. Настоящая женщина. Взрослая. Величавая. Чуть таинственная. С родословной... Пора повышать квалификацию, Андрей Евгеньевич.

Сладилось у них на удивление быстро. Однажды, проводив её до дома, Столбов заглянул к ней на чашку кофе, да так и остался. А через несколько месяцев он стал сотрудником бюро технической документации в крупной строительной фирме, где работала Ирина. Контора была богатая, бывший трест, строила государственные объекты. Порядки в ней были ещё советские — не перетрудишься. Идиотских ограничений по семейственности тоже не было: работали они в разных отделах на скромных должностях. Зарплата по московским меркам могла быть и повыше, но Столбов не жаловался. Он торжественно переехал в Иркину уютную двухкомнатную квартиру, а столбовскую они решили сдавать. Материальный вопрос был благополучно уничтожен.

А в следующем году, тревожной осенью,

когда в Москве и по всей России отчего-то начали взрываться дома, у них родился сын. Женька. Получив от Ирки известие о грядущем первенце, Столбов задёргался было, но быстро успокоился. Чего он в самом-то деле? Чай, не юнец какой-нибудь: уже за тридцать. Пора... И всё же что-то легонько покалывало в самой глубине души. Нет, злобные гримасы подлых времён совершенно его не беспокоит. Обошлось же. Глядишь, и дальше обойдётся. Но словно захлопнулась для него очередная калитка. Калитка в вероятную иную жизнь. Он пока вовсе не собирался пользоваться этой калиткой, но, пока она была открыта, Столбов чувствовал себя хозяином судьбы. Случись чего — соберёт свои нехитрые пожитки — и привет. Это была для него излюбленная жизненная роль. А теперь никуда уже не денешься. Отец семейства...

А Ирка была счастлива. Лёгкая какая-то стала, воздушная. Так и носилась, так и летала по комнатам вприпрыжку. По-особому ярко зацветились и углубились в тёмную синеву её глаза. Ночи напролёт шептала она ему, как здорово заживут они втроём. «А ещё, Андрей, — тише прежнего признавалась она, изо всех сил прижимаясь к нему, — я так боюсь тебя потерять. Ужас, как боюсь...»

А дальше... Дальше всё долго шло обычным для молодой семьи чередом. Пелёнки, молочная кухня, детский сад, первые книжки... Это увлекало, вводило от дурных мыслей, и Столбов пытался уверить себя, что это и есть истинное счастье. Да так оно и было в это короткое, быстро пролетевшее время.

А потом началась школа, уроки, первые успехи и неудачи... Ирка хлопотала над Женькой, как наседка над яйцом. И Столбов начал глухо раздражаться. Недовольство его пока не касалось семьи. Просто находило, наплывало вдруг какое-то тоскливое оупение, и всё становилось каким-то чужим и надоевшим — и долбящий на пианино сын (школа была с музыкальным уклоном), и сидящая на кухне за швейной машинкой жена. Она по-прежнему лучилась своей улыбкой, но по временам беспокойно взглядывала на мужа. Она всё понимала. Даже то, чего не понимал пока Столбов.

А его стала одолевать бессонница. Обычная вещь к сорока годам. Но мысли были необыкновенно отчётливы и тяжело катались в голове, как бильярдные шары. Уже за сорок. Как ни крути, а большая часть жизни уже позади. А кто ты, Столбов? Иркин муж? Женькин отец? И всё? Где ты, Столбов? Ау! Ещё десять лет — и пожалуй что старик. Что сделал ты в жизни? Для чего был рождён? Зачем вообще всё это надо было? Только для этого? Посадить дерево, вырастить сына... Тьфу, мешанские байки... Косился на мирно сопевшую рядом Ирку и мысленно осекался. Пока ещё осекался. Так прошло ещё несколько лет.

А потом Андрей Евгеньевич задурил. Задурил крепко и мстительно. Демонстративно заявлялся домой выпивши и устраивал целые представления. Назло Ирке. Знал, что никуда она от него не денется. Ругался. Сетовал на опостылевшую жизнь. И пьяным-то особо не был — так, для куражу. Но кураж выходил первоклассный. Как первач. Такой же мутный и едкий. Столбов театрально заводился на пустом месте и доходил до слёзных истерик. Раньше и не чуял в себе таких способностей. Иначе в актёры бы пошёл. «Вакуум! — выкрикивал он, неуклюже потрясая руками. — Сплошной вакуум! Сажу тут как в курятнике, как муха в сиропе! А жизнь проходит! Ирка, жизнь проходит!» Со временем мастерство всё более оттачивалось, в ход шла нецензурщина, летала и живописно — в мелкие кусочки — разбивалась посуда. А в дверях стоял бледный Женька и трясся, ожидая драки. Но до рукоприкладства благородный Столбов никогда не доходил. На следующий день великий трагик понуро сидел на кухонной табуретке и, делая вид, что ничего не помнит, выслушивал сдержанные упрёки жены. Ирка не судила его слишком строго. Она по-прежнему боялась его потерять. Даже такого.

«Андрей, ну скажи, чего бы ты хотел? Разнообразия? Ну давай поедem путешествовать. Сядем на машину — и махнем куда-нибудь, а? — допытывалась жена в редкие дни его просветления. — Или за границу слетаем. Давай?» Столбов прибито взглядывал на неё и обречённо мотал головой. «Нет, Ирка... Не смогу. Уже не смогу... Не выдержу. Только хуже будет.

Пустота какая-то, понимаешь? Вот здесь пустота... — и ожесточённо стучал себя в грудь у сердца. — Давит. Сосёт. Как червь. Как пиявка!» И замолкал, боясь снова завестись. «Вакуум?» — горько усмехалась Ирка. Он кивал и поспешно уходил из дома.

А потом из дома ушёл Женька. Собрался — и ушёл. Спокойно объяснил родителям, что больше не может смотреть на этот балаган. Жил у приятеля, учился в колледже при институте электронного машиностроения, зарабатывал на жизнь ремонтом компьютеров. Мать не очень расстроилась: видимо, он заранее подготовил её. И звонил потом только ей. Отца, судя по всему, он не желал ни видеть, ни слышать. Столбов тоже особо не удивился: вспомнил себя в юности и заключил, что дети повторяют родителей. Ничего... Он уже вполне самостоятельный, пусть попробует взрослой жизни. А не пора ли и ему самому в свободное плавание? Теперь-то вроде ничто уже не держит... Но как-то не решался начать об этом разговор с женой. Она ведь, чего доброго, повиснет на нём, станет умолять, унижаться. А он, конечно, не выдержит и... И кем будет в собственных глазах? Рядился-рядился и вот тебе... Нет, Столбов. Надо погодить. Ещё немножко погодить, а там уж...

Но погодить не вышло. «Вот что, Андрей... — взглянула из-под опухших, наплаканных век Ирина. — Хватит нам друг друга мучить. Сына мы с тобой вырастили, между нами, кажется, уже всё ясно, так что... Пора разбегаться, Андрей Евгеньевич. За доброе — спасибо, а за дурное зла не держу. Я тебя освобождаю, Столбов. Скатертью дорога...» Откусила нитку на вечном своём шитье и опять подняла на него глаза. Беспомощные. Жалобные. Обмелевшие. Но какая-то безнадежная решимость была в её исхудавшем и посеревшем лице. В опавших щеках. В усталых страдальческих серых полукружьях под глазами. В глубоких стрелках морщинок на лбу. У Столбова сжалось горло, он пошатнулся и упал на табуретку. Острое чувство вины и жалости яростно, как в перегретом котле, вскипело в нём. А ещё... Ещё он не ожидал, что всё это случится вот так, просто и обыденно. И куда он пойдёт теперь, в какое, к чёрту, плавание? Кому он

нужен, непутёвый, ни на что не годный плешивый старый хмырь?

«Ирка... — трясущимися губами еле слышно прошептал он. Хотел было сползти с табуретки на колени, но вовремя удержался. Хватит спектаклей. — Ирка... Прости. Прости, если можешь, только не гони. Ничего этого никогда больше не повторится...»

Не повторилось. Нашёл Столбов силы взять себя в руки. Но не повторилось и ничего, чем хороша была когда-то их жизнь. Жили они теперь иначе. Единой семьи уже не было. Даже спали чаще всего по раздельности: Ирка — в спальне, а он — в большой комнате на кушетке. Так было лучше и легче обоим. И никуда не делась пустота. Она по-прежнему висела в груди ошутимой гирей. Но Столбов успокоился, перегорел и научился с ней мириться. И даже беседовать по ночам за бутылкой перцовки. И даже петь с ней воображаемым дуэтом, еле слышно мыча мотив и дирижируя дымящимся окурком. Как когда-то Василий Васильевич... Вспомнив старика, Столбов встряхивал головой и махал рукой перед глазами, словно видение непрошеное отгонял. Но Василий Васильевич был неназойлив. Исчезал и забывался.

Но вот сегодня не исчез. Значит, пришло время. Значит... Столбов по-прежнему ловил собственное лицо в тёмном иллюминаторе. Или нет. Не собственное. Это было лицо товарища Вентилятора. Молодое, устремлённое, задиристое, с яркими озороватыми искорками глаз. Под густой копной растрёпанных жёстких волос. И было оно не отражением в стекле, а словно летело рядом с самолётом. Товарищ Вентилятор пристально и выжидающе глядел на Столбова и, казалось, изредка подмигивал ему. Андрей Евгеньевич не пытался ни проморгаться, ни встряхнуться, чтобы отогнать видение. Он знал почему-то, что ему не кажется. Только вздохнул и, чуть помедлив, отвёл глаза. Значит, так нужно. Значит, вот он — момент окончательной истины. Рука неуверенно потянулась было к затемняющей шторке иллюминатора, но опала на полпути и снова легла на подлокотник. Зачем? Какой смысл? Что изменится от этого, если всё уже предрешено? Но... что — предрешено? И кем? От этой мысли стало на миг холодновато: уж

очень неуютно было думать о предреши́енностях в десяти километрах от земли. Но лёгкий испуг тут же сменился кривой ухмылкой на губах. А разве он не был готов к этому, когда отправлялся в этот странный полёт? Разве не понимал, когда стоял под окном своей кухни и видел там собственную тень, что отдаётся на произвол самых непредсказуемых сил? И разве не к этому, в конце концов, шёл он, вернее, брёл последние четверть века своей сумбурной и неприглядной жизни? Может, и слава богу? Другие кончают либо верёвкой, либо мучительной болезнью. Повезло... Но так быстро. Так резко и бесповоротно...

А кто все эти люди в самолёте? Не ему ли подобные? То-то детей ни одного нет. Ни детей, ни стариков. Все — солидные дяди-тёти лет от сорока до пятидесяти... Такие же — бывшие и настоящие? Но эта мысль так и осталась недодуманной, хотя и сулила интересные находки. Некогда было додумывать. Потому что началось. Началось внезапно, но в исходе он уже не сомневался. Привалило вдруг на правый бок так, что подлокотник врезался в самую печень. Аж запульсировало там, под вздохом. В иллюминаторе показалось тянущееся вверх, как на взмах, левое крыло. Лицо товарища Вентилятора сочувственно улыбнулось, еле заметно кивнуло и исчезло.

Самолёт стал припадать на левое крыло, выравнился было, но его словно занесло, — как машину на льду, очень похоже, — и Столбова прижало к иллюминатору. Там, в ледяных потёмках, было совсем пусто, и лишь ходовые огни, отражаясь от белых крыльев, посверкивали, как северное сияние. А сквозь толщу облаков далеко-далеко внизу изредка проблескивали еле видные земные огоньки. Самолёт снова швырнуло, резче прежнего, так, что Столбов едва не вылетел из кресла в проход. Вокруг раздались короткие перепуганные вскрики, и повисла тяжёлая тишина, разбавленная звенящим реактивным гулом турбин. Самолёт выровнялся, пробежал по салону глубокий облегчённый вздох — и вдруг двигатели будто на миг заглохли, и хвост «Боинга» тяжело подался вниз. Ощущение падения было очень явственным, слышался даже металлический вой, очень похожий на тот, с которым в кино падают авиа-

бомбы. Столбова швырнуло на спинку кресла. В салоне нарастал гул голосов. Люди не успели ещё ничего понять и словно спрашивали себя и друг друга — что это, пугаться им или всё ещё обойдётся? Вернулся гул турбин, и самолёт чуть подкинул задом. В проходе появилась бортпроводница. Та самая, что доказывала Столбову безопасность полётов. Только вот инопланетный её загар куда-то исчез. Белая-белая, едва не в синеву. Или это освещение такое? Станным голосом, то и дело срывающимся на мяуканье, она попросила пассажиров пристегнуть ремни. И тут же самолёт клюнул носом и одновременно свалился на правое крыло. Ощущение было таким, будто кто-то большой и глупый играет с самолётом. То в крыло толкнёт его пальцем, то в хвост, то в нос. А что, мол, ты теперь будешь делать? А теперь? А теперь?

А в салоне снова поднялся гул. Уже перепуганный. Если ещё пару минут назад всё казалось случайностью, то теперь, после выступления стюардессы, всем стало ясно, что дело дрянь. Слышались стоны, сдавленные рыдания, бессмысленные выкрики. Кто-то пытался всех успокоить, но тщетно: болтанка усилилась. От размашистой качки кружилась голова и желудок подступал к самому горлу. Хорошо, что пустой. А кто-то уже просил санитарный пакет. И никак не мог допроситься: стюардессы как испарились. Может, прыгнули с парашютами?

Самолёт крутило, швыряло, валяло с крыла на крыло. Столбов, стиснув зубы, полулежал в кресле. Сердце опять сдавило. Так, что во рту появился металлический привкус и ослабла левая рука. Самолёт терял высоту. Турбины ещё жили, ещё грохотали. Но вернуть ему нормальный полёт никак не могли. Столбов скрипнул зубами. Одно дело — предполагать и допускать, а другое — на самом деле грохнуться оземь с десяти километров... Было страшно и зябко. Лишь бы мгновенно... Лишь бы не успеть ничего почувствовать... А в остальном... В остальном всё справедливо. И теперь уже окончательно ясно. Именно в этом и было всё дело. Весь смысл происшедшего этой ночью.

А в салоне началось буйство. Дико было видеть, как солидные немолодые люди мечутся в проходе, скачут по креслам, раскатисто хохо-

чут, рвут на себе волосы, истошно матерятся, орут «не хочу!» и зовут маму. Ревут, как медведи, и визжат, как дикие кошки. Кто-то остервенело молотил в дверь пилотской кабины. Кто-то выламывал спинку кресла. Кто-то, жалобно воя, катался по полу в проходе. Немногие сохраняли видимость спокойствия. С белыми как снег лицами, сжатыми до дрожи челюстей зубами, они сидели, вцепившись в подлокотники и остановившимися глазами бессмысленно глядели в потолок. Несколько человек молилось. Эти выглядели по-настоящему спокойно.

Но спокойнее всех был Столбов. Он сидел и хихикал. Несмотря на весь ужас происходящего вокруг. Несмотря на нарастающую боль в груди. Он только что понял, что ничего с ним не случится. Потому что он, Столбов, сейчас дома. Его здесь нет. Нет, вот и всё. А то, что здесь происходит, будем считать сном. Это не так, но никак иначе это не объяснишь. Радости это открытие не принесло. По правде, было жаль. Это ж каким надо быть ничтожным и никчёмным типом, чтобы даже умереть не суметь! Но странная — ехидная и победная — ухмылка вылезла вдруг на его лицо. Сходите с ума, орите, бейтесь — а я погляжу. Ни разу ещё не падал в самолёте...

*Пусть осень не кончается,
Нам счастье повстречается...*

На него оглядывались, косились, бросали безумные взгляды. А он пел. Упоённо и самозабвенно. Как пил. Так, как мог это делать только один человек на земле. Лучший в мире человек.

*Два голубя в дом каменный,
Твой белый, мой подраненный,
Влетели. Заколдованный был дом...*

А за иллюминатором уже совсем близко вертелись, как в калейдоскопе, жёлтые земные огни.

*Любовь мою последнюю
За слухами да сплетнями
Ты, осень, разгляди да сбе...*

Страшный удар подбросил его в кресле до самого потолка. Мгновенно онемевшее тело ничего не чувствовало. И тут же вспышка и взрыв. Во всём теле взрыв. Горячий и яростный. Как от вермута, только в тысячи раз сильнее. И отлетел воздух. И упала темнота. Царственная ласковая темнота. Навсегда.

Глухая предрассветная ночь. Ни души на улицах маленького городка. Даже собак не слышно на окраине. Темень. Жёлтые лица уцелевших фонарей грустны и безразличны, как осколки ущербной, но ещё яркой луны. В глубине заросшего сада спит старый бревенчатый дом. Тишь и безветрие. Даже жёлтые листья на берёзе молчат, не шелохнутся. Чёрные окна. Чёрные стены. В потёмках может показаться, будто и не живёт здесь никто. Но нет. На ближайшем окошке за стеклом висит горшок с замысловатым вьющимся комнатным растением. За ним — лёгкая тюлевая занавеска и две подвязанные домиком шторы. В комнате совсем темно, но редкие неверные лунные блики лежат на стенах и ковре пола. Письменный стол. Угловатый громоздкий шкаф. Маленькая, глянцево блестящая дамская сумочка на столике сумрачно посверкивающего трельяжа. А на диване, вольно раскинувшись, спит женщина. Спит сладко, закинув руку за голову и улыбаясь глубокому предрассветному сну. И вдруг где-то близко, едва не над самой крышей, пронёсся низкий глухой гул, похожий на внезапный порыв ураганного ветра. Воздух вдруг сгустился и мягко, но тяжело ударил по старому фабричному барaku. В комнате звякнули стёкла. Задрожала и жестяно крякнула древняя крыша. Распахнулась форточка, и ворвавшийся ветер вздул занавески и бросил в комнату перевитые стебли оконного цветка. Покачнулась, отрывисто звякнула и загудела запылённая гитара на стене у окошка. Женщина вздрогнула и проснулась. Побарахталась в постели, выпросталась из-под одеяла и встала. В заспанных глазах — неостывшая сладость прерванного сна. Зевая, прошлёпала по ковру, закрыла форточку и долго вглядывалась в чуть

подсвеченную лунной темноту. Всё тихо. Чуть колышется бурьян среди дичающих яблонь. С берёзы опадает, будто стекает с обвисших ветвей, сухая листва. И зарево на небе. Далеко, в стороне Гатчины. Рассвет? Или опять подождли что-то? И гитара проснулась, надо же... Спи, спи. Ложная тревога... Протянула руку и коснулась холодных струн. На лице женщины затеплилась странная смутная улыбка. То ли сну улыбалась она, то ли какому-то давнему воспоминанию. Вдохнула еле слышно, вернулась к дивану и легла. А старая львовская гитара чуть покосилась на ржавом гвозде, и из-под неё проглянул кусок невыгоревших обоев. Давно, ох, давно висела она здесь...

А в московской квартире на кухонном полу лежал человек. Грузный лысый дядька. Ещё несколько минут назад он стоял у окна — и вдруг покачнулся, захрипел и упал. На спину. Широко, как крылья, раскинув руки. Будто взлететь хотел, да не смог. Он не дышал. И набрякшее лицо его наливалось неживой синеватой бледностью, странно светящейся в темноте. Коньячный свет настольной лампы поблек и обесцветился. Наступал рассвет.

□

Александр Владимирович КОЗИН

родился в 1971 году в Павловском Посаде Московской области.

Окончил филологический факультет

Орехово-Зуевского пединститута.

Пишет прозу.

Публиковался в журналах «Север», «Подъём»,

«Дон», «Сибирские огни», «Сибирь», «Наш современник»,

«Молодая гвардия», «Москва».

На данный момент работает редактором

оперативной информации

на одном из московских телеканалов.

